

ЮРИЙ УБОГИЙ



МОЛИТВА

ПОВЕСТЬ

1

Как всегда, вид из окна и успокоил Бунина, и утешил, и восхитил: какая дальняя даль, тонко-мглистая от зноя, в которой хребет Эстереля млеет дремотно; какой чашей огромной лежит внизу долина с Грассом под выгоревшим, полинявшим на солнце, серовато-голубым небом; какое облако величественное, каменно-белое стоит там, у горизонта, где небо сливается с морем! Райский край, который укрепляет, лечит душу и тело восемнадцать уже лет. Бог дал, да, но ведь и самому поискать, помыкаться пришлось. А как сюда попал, на гору над Грассом, до виллы “Бельведер” добрался, окрест посмотрел, сразу и почувствовал: здесь жить-быть, и нигде больше, а Париж лишь на зиму оставить. Так и было годы многие, пока недавно на “Жанетту” переселиться не пришлось. Впрочем, невелика разница — и вокруг все то же, примерно, и вилла такая же почти...

Потянуло горячим, сухим ветерком. Мягко прикрыв створку окна, Бунин оттолкнул ее, поймав взглядом несколько мелких коричневых точек на тыле кисти, и ощутил неприятный укол. “Гречка” возраста, очень уже почтенного, только не в нем суть, а в том, как чувствуешь себя. Он же порой, вот как сейчас, не только не стар, но, как ни странно, почти молод. Время его любимое, летнее, природа-погода волшебная облегчают бремя лет, оживляют, бодрят. Вот и пользуйся всем этим, пока Бог возможность дает, дни твои длит и сроки. Смотри, слушай, внемли прелести земной...

УБОГИЙ Юрий Васильевич родился в 1940 году в селе Красная Поляна Курской области. Окончил Воронежский медицинский институт и Высшие литературные курсы. Более 20 лет работал психиатром и психотерапевтом. В “Нашем современнике” публикуется с 1978 г. Автор 12 книг прозы. Член Союза писателей России. Живёт в Калуге.

Сколько впереди и вокруг вилл, садов с оливами, пальмами, кипарисами, агавами, лаврами, сколько роз, сколько цветов! Как волнисты склоны долины, покрытые сосновым южным лесом, как мягко синеют уходящие друг за другом хребты Эстереля и Мор, как похожи по цвету и все-таки различимы небо и море! Как воздух нежен и тонко пахуч, с каким упорством монотонно-дремотным сипят, куют кузнечики!

Счастье, что после бегства из Парижа, от немцев наступающих, в конце концов в Грассе своем любимом оказались. Хоть и голодно здесь целый уже год, а все дома. Дома... Бунин усмехнулся. Далек твой дом, милый, за семью горами, за семью морями. Да и там его нет давно. Пустыня Совдепии, в которой приютиться, приткнуться негде. Здесь теперь твой дом, вот он, хоть и наемный. А еще и Прованс, и Париж, и Франция, половина которой под немцами живет. С какой чудовищной быстротой все произошло! Дойти до Парижа за месяц и с ходу его взять — в страшном сне такое присниться не могло. Дьявол помог, иного нет объяснения, недаром у Гитлера и вид, и повадка бесовские, дьявольские. Нечисть, нечисть! Народ Гете и Шиллера заморочила, с ума свела. Да и французы хороши, нечего сказать! В Париже, по слухам, обыкновеннейшая жизнь идет, кафе, рестораны, театры, кабаре вовсю работают, да еще и бойчей, чем раньше. Клиентов прибавилось, господ офицеров немецких. Можно ли такое для России, для Москвы представить? Бунин напрягся, вообразил Арбат, жизнь его обыденную, немцев в форме военной, походкой хозяев ходящих по нему, и вздрогнул судорожно: нет и нет! Он бы, во всяком случае, не перенес такого, умер бы от оскорбления и ненависти! Или зубами бы впился в горло кому-нибудь из новых господ! А ведь будет с Россией война, не миновать, все клонится к тому. Пакт о ненападении? Им Гитлер задницу бы подтер, если б бумага была мягкой...

По террасе прошел Зуров с лопатой в руках, с грядок своих заветных возвращается. Подступиться к ним никому не дает, в потравах, хищениях всех обвиняет. Скобарем его прозвал, как псковичей и зовут-дразнят. А курян “соловьями”, воронежцев “водохлебами”, туляков “самоварниками”, орловцев “дубинниками”... Вот дубиной-то этого Скобаря не раз хотелось по голове хватить, отвести душу. В двадцать девятом году как пожаловал, так и живет до сих пор. Сам виноват, приглашать и приваживать не надо было. А теперь и не выгонишь, Вера привязалась, во всем и всегда за него горой. Выставил его как-то после ссоры жуткой, мордобитной почти, так умолила, выплакала разрешение вернуться. Хоть и гневлив порой бываешь до скрежета зубовного, но ведь и жалостлив. К тому же чувствуешь в глубине души, что Скобарь этот в наказание, может, тебе послан за то, что Галину в дом принял, жены не пощадив. Убеждал упорно, что она лишь ученица его литературная, и более ничего. Сделала вид, будто поверила, много лет все это терпела, терпи и ты ее питомца-воспитанника, как кару заслуженную...

А вот и парочка неразлучная с прогулки возвращается, Галина с Маргой. Дружно идут, тесно, только что не в обнимку... Он почувствовал, как судорога яростного возмущения пошла снизу, от живота. Горло сжала. И это наказание за тот же грех? Не много ли выходит? А не тебе считать-рядиться, тут единый Бог решает... Сколько лет уж прошло с тех пор, как они сошлись, а успокоения, смирения нет и нет. Вскоре после премии шведской догадываться стал, чуть с ума не сошел, сообразив, наконец, в чем дело. Так и осталось, так и сидит это в сердце, да не занозой — обломком стрелы... И ведь пришота, крова в начале войны попросить не постеснялись, и пришлось пожалеть да и принять обоих. А еще Бахрах с Роциным прибились, так что целых пятеро постояльцев тут у него живут-спасаются. И всех подкармливать надо, а то и просто кормить, при том, что сам скоро от жизни впроголодь ноги таскать не будешь...

Откуда-то снизу, из долины донесся далекий петушиный крик. Бунин вздрогнул удивленно: откуда, в суп ведь все они должны были попасть давно. Крик повторился, и так чудесно было его услышать, словно привет из Озерков, Глотова или Васильевского. Поразительный по сложности и противоречивости звук: и задор с удалью в нем, и печаль тайная, и надежда, и безнадежность. Петух — Франции символ. Да он и подходит для этого, ще-

гольской, надутый-гордый, красочный, только вот общипали его немцы в последний год до безобразности... Услышав третий крик, Бунин даже глаза прикрыл, чтобы не отвлекаться. Тут же и картина всплыла: избы с соломенными крышами, дворы, задворки, плетни похилившиеся. И запах: навоза, травы свеженакошенной, конопли, на солнце разогретой... И новый крик, и уже не понять — здешний он или оттуда, из Глотова? Четверть века назад там был, а порой кажется, что вчера...

— Иван Алексеевич, Германия объявила войну России!

Зурова крик, из столовой. Шутка, может, дурацкая? Нет, этим не шутят! Пошел, побежал, ног под собой не чуж...

Зуров сидел, прильнув к приемнику, за его спиной теснились Галина с Маргой, Бахрах и Вера. Бунин подошел к ним вплотную, замер, прислушиваясь. Диктор говорил по-французски, быстро и взволнованно. Половина слов оказывалась или неразборчива, или непонятна. Да уже и понимать нечего было — война!

Бунин присел в сторонке к столу, чувствуя озноб, несмотря на жаркую духоту в столовой. А голова и совсем была ледяной, пустой, гулкой, и кто-то словно проговаривал в этой пустоте: война, война! Подумал, вдруг, морщась — давно уже война идет, можно бы и привыкнуть. Да, только раньше-то война была с другими, а теперь с Россией, с тобой самим...

Подошла Вера, прижала ладони к обычно бледным, а теперь поалевшим щекам.

— Что же теперь будет, Ян?

В глазах и испуг, и надежда странная, просьба почти. Словно верит, что он что-то изменить, отменить может. Не в первый раз он такое за ней замечает в тяжкие минуты, испытывая смесь злости и сладковатой, противной польщенности.

— Откуда я знаю? Я не Господь Бог!

Он посмотрел на остальных. Зуров настройку приемника крутил, Марга выглядела спокойной, Галина стояла, опираясь рукой на столик и выставив крутое бедро. Никак не перестанешь замечать такое, старый хрыч, мелькнуло у Бунина. И на одре смертном небось заметишь... Галина, почувствовав его взгляд, обернулась, подошла. Вот они, твои бабы, сбежались к защитнику, а тот хорош, сел, ослабев в коленках...

— Иван Алексеевич, что ж теперь? — спросила Галина, лихорадочно блестя глазами.

— Да вы что, сговорились?! Дельфийского оракула нашли? Тогда давайте уж всех сюда заодно, пророчествовать начну. Что будет, что будет... Вот то и будет, что никого из нас не будет в конце концов. Этому и верьте, а остальное дела темные.

Появилась Марга, стала, как обычно, вплотную к Галине со своим крупным, мужского, твердого склада, лицом. Бунин отдернул взгляд — видеть их вот так, рядом, не мог, даже сейчас, когда не до личных, интимных дел и счетов...

— Иван Алексеевич, что это вы такой убитый? — спросил подошедший Зуров. — Как на похоронах?

— Они, похоже, и начались...

— Ну и что? Похоронит Гитлер Совдепию, сволоочь большевистскую, как вы же и говорите, что ж плохого?

— Россию похоронит!

— Ну почему же? Один гад съест другую гадину, только и всего.

— Съест, а сам обратно к себе в Германию уползет?! — Бунин вскочил и выгнул перед собой крюком правую руку. — Вот вам! Сожрет, да там и разляжется, переваривать будет, на говно переводить! А можно и по-другому все представить — на карачки Россию поставит да и...!

— Ян! — воскликнула Вера укоризненно.

— Что, словечко не салонное? Так мы и не в салоне, а в чужом доме, в чужой стране спасаемся, которая как раз на карачках уже и стоит!

— Но Россия же огромная какая, — сказала Галина робко. — Может, силы и найдет?

— Дай Бог, дай Бог, — пробормотал Бунин, чуть остывая. — Одна, по моему, надежда — на то, что упираться будут до последнего — и верхи, и низы. Победит Гитлер — всем конец. Большевикам петля, а народу рабство настоящее, по древним образцам, а то и похлеще.

— Народу освобождение от большевиков наверняка обещать будут, — сказала Марга.

— Вот именно — обещать! Как у нас в Ельце говорили — многим обещала, да никому не дала!

— Опять ты за свое, — пробормотала Вера.

— А ты что, как институтка? Пора и привыкнуть, четвертый десяток со мной живешь... — Бунин помолчал. — Посмотрим, что им дала ихняя коллективизация с индустриализацией, война быстро все покажет. А всего главней, каким боком армия повернется, примет войну за свою или нет.

— Заставят принять, — сказала Марга.

— Нет, милая, армию воевать не заставишь, если она не хочет того. Как в ту, первую, все посыпалось! Штыки в землю и домой.

— Большевики тогда армию разложили, — сказал Зуров.

— Большевики, да. Но чего у них никак не отнимешь — удержали-таки Россию в целости, не дали развалиться. Вот и на это теперь посмотрим — крепок ли обруч, ими набитый. А вы что отмалчиваетесь, Александр Васильевич? — покосился Бунин на сидевшего в сторонке Бахраха. — Ни слова от вас, ни звука.

— Смута полная, Иван Алексеевич. Не знаю, что и сказать.

— Смута смутой, но если я почувствую, что кто-то в душе поражения России желает — то вот Бог, а вот порог! Не только вам, всем говорю!

— А мне особенно? — усмехнулся Зуров. — Из-за рассуждения про двух гадов?

— Рассуждать по-всякому можно, я и сам мастак ляпнуть иной раз черт-те что. Я душу, суть самую имею в виду.

— Чужая душа потемки.

— Уж такое я и в потемках как-нибудь разгляжу, недаром в этой самой душе пятьдесят лет копаюсь.

— Не вольны мы в самих себе, по Пушкину, — сказала Марга.

— По Баратынскому!

— Вам лучше знать... Так вот, скажите, Иван Алексеевич, что, если желание это, червь такой, в вашей собственной душе заведется, как вам быть тогда? Руки на себя накладывать?

— И очень может быть! — Бунин засмеялся зло и едко. — Ладно, будем считать, что первое обсуждение великого дела состоялось. Глядишь, и продолжим вскоре...

Он встал, вышел из столовой, из дома и побрел в дальний, глухой конец террасы. Одному хотелось остаться, одному. Обдумать, осмыслить, понять... Он напрягся, но все та же, как после крика Зурова, пустота холодная была в голове, все та же в ней одна-единственная мысль: с Россией война! Уже и устал от тщетного усилия, и осознал вдруг, что оно и должно быть таким — тщетным. Слишком громадно, многозначно, тяжело было происшедшее — не поднять. Пусть сначала душа, сама по себе, без принуждения всякого, хоть как-то, хоть в чем-то разберется, вчувствуется, вникнет, а там уж и разум скажет свое. Да у него и всегда так бывало в самые тугие, крайние времена. Разве ум заставлял его после революции за Россию до последней возможности цепляться, до того момента, когда ясно стало — еще несколько дней, и ты в капкане? Ум давно и ясно говорил — подавай Бог ноги, а душа все не соглашалась на последний шаг. И как же корчилась в судорогах, когда Россия в море стала за кормой исчезать-пропадать...

Над лужком напротив порхала бабочка, и так прихотлив, извилисто-сложен выглядел ее полет, что Бунину вдруг почудилось, что бабочек две. Такая полнота, избыток даже свободы, воли был в ее полете, что хватило бы и на двух. А вот и на камень серый, лобастый присела она совсем рядом, крылья сложила, превратившись вдруг в черточку черную, а потом медленно, словно потягиваясь, расправила их, показала во всей красе со двоянны-

ми, спиральными, многоцветными завитками. Махаон? А вот и не знаешь толком, не чета Набокову. Тот помешан на бабочках, не понять только, как можно самое любимое ловить да морить, да на булавки какие-то накалывать, а потом еще и любоваться делом рук своих... Нет, не случайно, при всем порой восхищении, всегда чувствовал в его вещах что-то искусственное, засушенно-мертвое. Как будто он весь мир с его красками и формами божественными коллекционирует, укладывает в рядок, словно бабочек на булавках...

Поодаль, над склоном долины, стрижи носились, верезжа, и казалось, что есть у них лишь черный серп крыльев и ничего больше. И сам ведь иногда, в молодости особенно, хотел иметь только крылья, чтоб летать над прелестью земной, куда захочется, и глаза, чтобы ее видеть. В этом одном чудилось полное уже счастье... А вот, близко совсем, ласточки, где-то тут, в скалах, гнезда у них. И не верезжат, и щебечут мило, по-домашнему, по-деревенски, по-русски...

Среди зелени лужайки белели ромашки, желтели одуванчики, голубели незабудки. Странно, что и про цветы эти тоже иногда думаешь, что из России они сюда забрели...

*И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — Господь сына блудного спросит:
“Был ли счастлив ты в жизни земной?”
И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.*

Едва отзвучало в голове, в душе последнее слово, как что-то нужное мгновенно обозначилось и прояснилось. Молиться о России надо, вот что! А думание про войну, попытки понять происходящее, предположения, оценки — все это дело второе-третье. Этим России никак не поможешь, а вот молитвой — может быть! Каждый вечер перед сном молись, да и в другую, подходящую минуту. Боже, спаси Россию!

Бунин глубоко вздохнул, словно решил, стоя здесь в одиночестве, нечто важное, и тут же недоверчивость к простоте решения шевельнулась в нем. Так уж и дойдет твоя молитва до Бога, от такого праведника редкого, держи карман! Весь в грехах, как в репьях... Чего же и стараться тогда впустую? А не надо об этом думать, молись, вот и все. У Бога всего много. И надежда все-таки есть, любовь ее дает. Вот уж что живет в душе непоколебимо — любовь к России до муки, до боли. На это и уповай, а уж Господь как-нибудь разберется, принять твою молитву или нет...

Послышался скрип гравия под быстрыми шагами, и Бунин увидел идущую, бегущую почти, Галину. Как давно не бывало, чтобы она, вот так, вся вперед устремившись, спешила к нему.

Подойдя вплотную, выдохнула:

— Киев бомбили...

Потом уткнулась лицом ему в плечо и замерла. Он обнял ее, почувствовав, как отвык от этого, такого привычного когда-то, движения. И от запаха волос отвык, и от тела под ладонями...

— Иван Алексеевич, Киев бомбили, понимаете?! — Она отстранилась резко.

— Понимаю, чего ж тут не понять, — сказал он, трезвея. — На то и война.

— Да ведь только что началась!

— Откуда мы знаем, когда она началась в точности, а лететь до Киева недолго.

— Как же допустили долететь?

— Спроси что-нибудь попроще. — Бунин помолчал. — Таких сюрпризов впереди много будет, привыкай. Что ты так уж раскисла?

— Да ведь он кровный мой, Киев! Я всю жизнь свою российскую там прожила!

— Как же, помню, — пробормотал Бунин с усмешкой. — Могу напомнить и кое-что, тобой же забытое.

— Ах, да! — Она смутилась. — Что ж, при вашей памяти и сможете, конечно.

— Не твоей чета. Где я родился, помнишь хоть?

— Обижаете... На улице Дворянской, в Воронеже, на рассвете, двадцать второго октября.

— Что ж, и на том спасибо... А о Киеве не плачь, если даже займут его. Устоит Россия в конце концов, вот в это верить надо.

— А я и верю, — сказала она просто.

Он обнял ее, и они так постояли недолго, спокойно, как старые друзья.

Внизу, под террасой, по белой каменной дороге бежали дети, впереди девочка лет десяти, а за ней мальчик, совсем маленький, жалобно что-то кричащий. И Бунин со всегда свойственной ему мгновенной резкостью перехода ощутил себя этим мальчиком плачущим, только бежал он не по щелю, а по тропинке среди ржи...

* * *

Как затеряны были в полях, хлебах, травах их Бутырки, как ничтожно малы! И ведь сызмалу, ничего еще о большом мире не зная, он догадывался об этой затерянности, ощущал ее и как что-то сладостно-райское и, одновременно, грустное до слез. Вот он бежит и плачет от этой грусти или, может, оттого, что заблудился во ржи, и падает в конце концов на комковатую землю, затихает в истоме отдыха и даже утешается видом божьей коровки, которая, приятно щекоча, заползает ему на руку. Она так мила в своей красно-черной пестроте, округлой ладности, очерченности! Вот замерла на сгибе пальца, треснула посередине, показав что-то нежное, палевое — и улетела, исчезла. А он готов вновь заплакать, уже из-за этой разлуки...

Вот город впервые, камень его по сторонам и под колесами дрожек, многолюдье ошеломляющее, шум, гвалт, грохот. Вот базар страшный и прекрасный своей теснотой и пестротой, запахами резкими, перемешанными густо, покупка плеточки со свистком в рукоятке и плетеной из лыка коробочки с ваксой. Свисток свистит печально и нежно, вакса пахнет так остро, что хочется чихнуть. Полмира потом посмотрел, но ничто никогда так не восхитило, как та плеточка и та вакса...

Отец бодрый, горячий, радостный, мать нежная, печальная постоянно какой-то высокой, неземной словно бы, печалью. От них у него эта смесь радости-печали, которую приходится терпеть, выносить всю жизнь, из одной крайности резко переходя в другую. К матери любовь была до боли, и это тоже на всю жизнь осталось — где любовь, там и боль. Осчастливит Бог любовью, будь готов и боль ее претерпеть...

И каким одиноким было детство при отце-матери, брате, сестрах. Может, у всех это так, а может, у тех, кто даром художника бывает наделен. Вместе с этим даром одиночество дается, как с любовью боль. Были и друзья-приятели, сын кучера, сын скотника, дочь кухарки. Хорошо с ними игралось, но рано почувствовал, что он совсем особенное от них существо — барчук, из рода Буниных, которые в какую-то важную-важную книгу записаны. И представлялась эта книга огромной, и фамилия их в ней огромными буквами начертана. А жизнь в Ельце, учеба в гимназии по этому чувству особенности, избранности своей страшным оказалась ударом. Тут он в общий ряд стал, да еще и с бедного, захудалого конца. Нахлебником жил у чужих людей, в уголке ютился. До сих пор знобит, подташнивает, как вспомнишь тоску, униженность, подневольность тех бесконечных осенних и зимних вечеров...

Когда отец навестить приехал, бросился к нему с такой безумной радостью, так впился в него, так повис на шее, так надышаться не мог родным запахом табака, овчины, всего дома родного, что впервые сам вполне почувствовал, как же ему тут, в Ельце, приходилось плохо. Потом была гос-

тинаца, два дня счастья с отцом и прощание такое, что, казалось, не выдержит, умрет... А выдерживать жизнь елецкую пришлось долго-долго, и легче почти не становилось. К пятнадцати годам какой-то стержень самостоятельности начал в душе возникать, твердеть. Личность формировалась, так, конечно. Вот тогда и сказал вдруг сам себе — все, хватит! Сдаю экзамены — и домой с тем, чтобы в гимназию больше не возвращаться...

Отец был возмущен таким своеволием, но в глубине души, пожалуй, и доволен. Что-то свое в этом узнал, сам жизнь прожил, как хотелось, не считаясь почти ни с людьми, ни с обстоятельствами. Мать же плакала тихо, скорбно над судьбой сына любимого, но непутевого. Да и какой был впереди путь? Если здраво рассудить, то никакого. Но он-то чувствовал твердо — есть! По тем силам чувствовал, которые прямо-таки грудь разрывали. Жизнь и природу вокруг видеть и понимать, читать, думать, вникать во все глубже и глубже. Языки учить, переводить что-нибудь из самого лучшего, знаменитого, пусть уже и десяток раз переведенного. И самому писать... Это было самое главное, самое заветное, начавшееся еще в Ельце, незаметно как-то, исподволь, словно во сне.

А потом вдруг счастье — брат Юлий под надзор полиции домой вернулся и лучшим учителем ему стал. Такие разговоры между ними пошли, что, казалось, душа растет, ширится, силу набирает не по дням, а по часам. Чувствовал, что месяц общения с братом больше ему дает, дальше продвигает, чем год гимназической долбежки...

Внизу, под террасой, по тому же каменисто-белому изгибу дороги, где бежали дети, медленно бредет человек с котомкой, с палкой длинной в руке. Одет в рванину нищенскую, на голове шляпа, похожая издали на грачиное гнездо. Не часто здесь такого увидишь, а в России когда-то бродили во множестве, кто на богомолье, кто за подающим, а кто и просто куда глаза глядят. Вроде бы и нехорошо, тяжело бродягой быть, а и хорошо тоже. Странники, бродники, птицы небесные, ничем не дорожащие в жизни и не имеющие ничего, кроме посоха и сумы! Да и ты сам вроде бродника, всю жизнь по чужим, наемным домам обретаешься, ни двора своего не нажил, ни кола... Вспомнился странник, встретившийся под Полтавой полсотни лет назад: по белесой, пыльной дороге шел, по зною, сухой, высокий, легкий и, показалось почему-то, счастливый. И не понять было, то ли стар он, то ли молод? Бог бродягу не старит — так мелькнуло тогда. Написал об этом несколько строк, а еще и рассказ целый есть, как нищий бродяга в метель страшную из одной деревни в другую под вечер невесть зачем побрел. Ну, и замерз, конечно, с той покорностью воле Божьей, с которой воробьи и синицы замерзают. Да так он и называется, рассказ: “Птицы небесные”. То страшной такая смерть представляется, а то вдруг самой желанной, легкой...

Далеко тебя кинуло, однако. Уж если захотелось к детству-юности прильнуть в тяжкую минуту, то что-нибудь поприятнее еще вспомни. А вот как шел семнадцатилетним с почты в Озерки с журналом “Родина” в руках, как останавливался, перечитывал первое опубликованное свое стихотворение снова и снова. Ландыши рвал росистые, зарывался в них лицом, вдыхал влажно-свежий, водянистый, кисловатый их запах. Одни из самых счастливых часов в жизни тогда испытал, самых возвышенно-чистых. А стихотворение напечатанное называлось “Нищий”. Поразительно! И сейчас ведь, жизнь спустя, о нищих бродягах думал...

2

— Опять эта брюква гнусная, — пробурчал Бунин и ломтик хлеба приподнял перед собой. — Как в хорошем ресторане порезано — просвечивает!

— Ничего больше не могли достать, — сказала жена виновато. — Сегодня опять в город спустимся с Галей, может, добудем чего-нибудь. А брюква и маслом постным чуть полита, и укропом посыпана, ты же видишь.

— Вижу, да в глотку не идет. Как бы от беззубойно сплошь питания копыта на сторону не отбросить!

— Ну, до этого, положим, еще далеко, — усмехнулась Марга.

— Вам может быть, — церемонно обратился к ней Бунин. — По вашим летам молодым и силам не меряным. К тому же женщины, как известно, лучше мужчин голод переносят и вообще живучей гораздо.

— Вы о нас, как о кошках, говорите.

— А чем же кошки вам плохи? Одно из самых прелестных существ на свете. Только вот поедят их скоро, как и собак, чует мое сердце. Этой зимой и начнут.

— Ну, что ты, Ян, право! — возмутилась жена. — Мы что, в осажденной крепости, что ли? Слава Богу, в свободной зоне оказались, не под немцами сидим.

— Иван Алексеевич, а что это вы так уж забеспокоились? — спросил Зуров вкрадчиво. — Даже странно.

— Это еще почему? — вскинул голову Бунин.

— Уж если с таким проникновением голодную жизнь своих героев описывали, то можно и самому потерпеть, не тревожиться очень.

— И где же это я описывал?

— Ну, как же... Яков Демидыч ваш чудесный из “Божьего древа” говорит, что один только раз в жизни вполне сытый был — когда на бойне работал. Анисья из “Веселого двора” перед голодной смертью пшено из трещин в столешнице выковыривала и ела...

— Знаю, что это такое, потому и тревожусь.

— Может, не знаете, а лишь вообразить умеете?

Бунин помолчал и ответил сухо:

— Голодать не голодал, врать не буду. Только вообразить что-нибудь настоящему глубоко иногда значит больше, чем пережить.

— Возможно, хотя и сомнительно, — проговорил Зуров со смесью смирения и язвительности.

— А я согласна с Иваном Алексеевичем вполне, — сказала Галина. — Воображенное и ожидаемое страшней реального бывает. Это как с лошадью — когда над ней кнутом крутишь, она быстрее бежит, чем когда бьешь.

— Ай, молодец! — воскликнул Бунин, хлопнув по столу ладонью. — Именно так! Спасибо, защитила старика. А ведь городская, надо же было заметить...

— Я тоже с вами согласна, — сказала Марга, взглянув по-всегдашнему спокойно и твердо. — Только у Гали художественно вышло, вроде мазка кисти удачного, а я рассудила просто-напросто. Каждый знает, что ожидаемое, воображаемое счастье чаще всего сильнее, ярче бывает того, что сбывается потом. Вот и с несчастьем так же, пожалуй...

Бунин, невольно как-то, уже ее и не слушая, думал о ней. Что ж в ней такого особенного, чтоб Галину у него увести? Все боялся, что хлыщ какой-нибудь молодой да смазливый это сделает, а сделала баба! Мерцает в ней, правда, что-то мужицкое в повадке, в голосе, во всей натуре, но в целом-то, в общем баба же она! Тайна природы тут какая-то, странность, вывих... А человек неплохой, надо признаться, если от себя оскорбленность, обиду, возмущение отстранить. Не глупа, доброжелательна, уравновешена, литературу, вообще искусство, понимает. Да и сама в прошлом певица талантливая. И его писания любит взаправду, а не притворно, уж тут-то его не проведешь. С Верой они ладят, что, впрочем, вполне понятно. Та и сочувствовала, и жалела его даже, когда все постепенно открылось, но в самой глубине души наверняка довольна была. Две пары в доме теперь оказались — Галина с Маргой да Вера с Зуровым. Только ли материнское у нее к нему чувство? Думается — да, но изредка и сомнение найдет. Чужая душа тайна в самой ее глубине. Да что там чужая, если даже и своя собственная! Где-то у Толстого есть — кто может знать меня, если я сам себя не знаю, понятия не имею...

Бунин осмотрел сидящих за столом: да, две пары, а Бахрах, хоть человек и литературный, но чужой, словом лишь перемолвиться с ним можно. Так что оказался ты, дружок, один-одинешенек в компании этой. Главный, конечно, но один. Он и согласился с мыслью этой горькой, и тут же возмущение, протест почувствовал. Что ж, и Вера уже не твоя, и Галина на груди у тебя недавно не плакала?

В окно вылетел шмель, полетал, погудел басовито и внушительно. Все примолкли, слушая и пытаясь поймать его взглядом. А вот и сгинул, смолк, как струну тугую, ворсистую оборвал.

— Какое стихотворение у вас, Иван Алексеевич, есть удивительное — “Шмель”, — сказал Бахрах. — Чудо! Рассказ целый о судьбе человеческой. Хоть статью об этом пиши.

— Вот и напишите...

Все тут пишут, подумал Бунин с усмешкой. Академия изящной словесности на голодном пайке. И про него, небось, малюют, что позабористее. Знают же, что он-то с его книгами в литературе останется, а, значит, и малевание это не пропадет. И выскочит, глядишь, после его смерти книжка “Бунин в калсонах”, и спрос будет иметь. Впрочем, пусть пишут, лишь бы не ввали сильно.

— Как ваш “Зимний дворец” поживает? — спросил он Зурова. — Прилепили к нему новую пристроечку какую-нибудь?

— Я пристройки, многоуважаемый Иван Алексеевич, не леплю, я сам дворец выстраиваю, с вашего разрешения.

— Разрешаю! Дай вам Бог удачи...

Никогда он не кончит своего “Дворца”, подумал Бунин. Так оно и спокойнее, и приятней — делай вид, что эпохальный роман пишешь, и щеки надувай...

— А “Шмель”, вы правы, хорош, — обратился он к Бахраху. — Я его и сам люблю. Одно плохо — так и не поняли меня по-настоящему, как поэта, не оценили.

— Не все, Иван Алексеевич, не все...

— Вы, что ли, поняли-оценили?

— Думаю, да.

— Ну-ка, прочтите что-нибудь наизусть! Не кусочки-строчки, а все стихотворение целиком. Давайте, доказывайте!

— Да как-то так, сразу... — замялся Бахрах.

— Ну вот! Блок бы у вас, небось, так от зубов и отскакивал...

— Иван Алексеевич, а можно я? — спросила Марга.

— Вы? — Бунин поднял брови. — Что ж, валяйте!

Марга начала негромко и просто, словно о житейском пустяке:

*У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!
У зверя есть нора, у птицы есть гнездо,
Как бьется сердце горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой наемный дом
С своей уж ветхой котомкой!*

— Спасибо, не ожидал, — сказал Бунин, помолчав и покашляв. — Приятно удивили. И ведь к месту как — и дом наемный, и котомка ветхая в наличии. Лет двадцать назад писано, а так оно все и осталось.

— Я и еще могу, — сказала Марга.

— Нет, нет, благодарю покорно! Хорошенького понемножку. Еще собьетесь, все впечатление испортите.

— А я не понимаю, Ян, почему ты огорчаешься из-за стихов, — сказала жена. — Какой ты писатель, весь мир знает. Неужели этого мало?

— Писатель... — Бунин помолчал. — Поэтом быть — вот высший Божий дар.

— По-моему, ты в прозе более поэт, чем в стихах. Свободней, лиричней, откровеннее.

— Не впервой такое слышу, — вздохнул Бунин. — Может быть, может быть...

— Но почему?

— Потому, что в прозе о других чаще всего пишешь, а в стихах почти всегда о себе. Тут последнюю пуговицу расстегивать надо.

— А ты, выходит, не можешь?

— Ну, пристала, как банный лист! Сама знать должна, столько лет же-ною бывши.

— А Софья Андреевна писала, что сорок восемь лет прожила с Толстым, но так и не узнала, что он за человек.

— Посложнее, видать, был меня, грешного... Да, что-то я карты не вижу, где она?

— А мы ее в дальний угол решили перевесить, — показал Зуров. — Линию фронта по последним сводкам передвинули, ну, и решили.

— Почему решили? Да еще без меня!

— Посмотрите и догадаетесь...

Бунин тяжело встал и зашагал к карте. Он все уже понял, и все-таки увиденное его поразило — огромный кусок России был от нее отрезан черным, изломистым шнурком — от Балтики до Черного моря. Ему почудилось на миг, что его самого вдруг полоснули ледяной бритвой по спине. А вслед такой ком ярости и ужаса начал вспухать в душе, что он испугался. Дай себе волю, то упадешь и в судорогах будешь биться... И он, стиснув зубы и кулаки, медленно вернулся к столу.

— Что же вы молчите, Иван Алексеевич? — спросил Зуров. — Вы ведь несравненный России знаток.

— России, а не Совдепии! — крикнул Бунин. — А в ней я только цветочки увидеть успел, а это, — он ткнул пальцем в карту, — похоже, ягоды! Это сколько же немцы прошли за три недели?

— До шестисот километров, я посчитал примерно. Блицкриг, что вы хотите? План у них такой, а немцы свои планы обычно выполняют.

— Наполеон тоже свои выполнял, да в России промашка вышла!

— Вряд ли такое повторится, Иван Алексеевич.

Вряд ли, мелькнуло у Бунина. А все равно молиться и надеяться надо до самого конца. В самых страшных положениях рука Божия и является как раз...

— А я в совершенном отчаянии, — сказала Вера Николаевна тихо. — Чудится, что вся Россия под воду уходит, как град Китеж.

— Китеж — это красиво слишком, — усмехнулся Зуров. — Да и не по чину честь для Совдепии. Впрочем, кое-что затопить немцы и сами могут, про Ленинград такое говорилось, кажется...

— Да перестаньте вы! — крикнул Бунин. — То хоронили, а теперь топить принялись! Что вам Россия — котенок слепой?! Как бы ни было, а нам одно остается — ждать, терпеть и надежду не терять... Так, а чем же зашьем трапезу нашу роскошную, кипятком? Напиток войн и революций...

— Для меня в нем пустота какая-то есть, — сказала Галина.

— Пожалуй, — кивнул Бунин. — Что ж, дорогие сожители, посидели, поговорили, надо и меру знать...

На террасе, на дороге, на тропинках белесых, каменистых — везде было солнце, зной, небо бледно-голубое, даль мгlistая. Прелесть середины лета, когда все вокруг застыло в покое великом и, кажется, бесконечном. Бунин шел и шел, с трудом удерживая душевное равновесие и чувствуя, что вот-вот оно покачнется, рухнет. Оно и рухнуло, как только карта России вспомнилась. Он приостановился, а потом и присел на придорожный уступ в скале. Эстерель был виден отсюда, но как-то размазанно, с влажностью зыбкой. Бунин выругался и крепко вытер глаза ладонью. Да ведь не мать же она тебе, теперешняя Россия, а мачеха! Нет, милый, нет, мать на мачеху не переделается...

Как же они захватили так много за такой срок? Это ж не идти, это ж ехать вперед надо было! Ну, и ехали на танках... А армия Красная-прекрасная где же? А в глубокой, вот где! Вот тебе и пути твои полевые меж колосьев и трав... Танки теперь по ним идут, гусеницами кромсают, перетирают в прах. А деревни горят полымем со своим бревном, плетнем и соломой. Была кучка изб, хат, по какому-нибудь косорорчику над ручьем рассыпанная, и нет ее, одни печки с трубами торчат...

Нет, нельзя так сидеть, мыслям черным давать волю. Походить надо, да побыстрей, побольше, до усталости настоящей...

Бунин забрался так высоко, как давно не приходилось. Лег, упал почти под круто изогнутую ветрами с моря сосну. Ветви ее приятно и тепло желтели, хвоя зеленела плотно, в прогалах кроны голубело небо. Нет ничего для глаз милей и прекрасней, чем эта зелень и голубизна! Голубизна особенно, божественное что-то в ней есть, райское. Бог везде, конечно, но для души человеческой прежде всего там, в небесах, туда ей и уходить. А телу в землю, вот она, под спиной, под лопатками, надавливает камешками острыми, не то что в сосняке у Васильевского... Он повернулся натужно, лег ничком, лицом в ладони. Сердце билось с такой силой, словно стучалось куда-то упорно и настойчиво. Куда? В землю, только вот в чужую, а не свою...

Возвращаясь, увидел сначала крышу виллы, потом террасу и прямо под собой Галину у цветочной клумбы. Замер невольно, уперевшись рукой в ствол оливы. Оттого, что он смотрел сверху, Галина казалась одновременно и близко, и далеко. И виделась так ярко, выпукло, словно он не видел ее давным-давно и вдруг встретил.

Он все стоял, глядя, как она пропальывает ею же и устроенную клумбу с анютиными глазками, маргаритками, незабудками... Особенно незабудки в углу клумбы были хороши — словно голубого неба лоскуток, упавший на землю. Что-то пронзительно русское было в этой маленькой, жалкой, одичавшей почти клумбе.

Галина выпрямилась медленно, положила ладони на поясницу и по-крестьянски выпнулась вперед. Потом головой повела, разминая шею, и снова склонилась к клумбе — так же точно, как и четырнадцать лет назад...

* * *

Все тогда было горячее — и работа, и любовь. Работая, как всегда, с утра, после завтрака самого легкого, закрывался в кабинете часа на четыре. “Жизнь Арсеньева” писал, самую, пожалуй, лучшую, значительную свою вещь, самую, во всяком случае, свободную. Писал, как дышал, и не мог надыхаться, вторую половину дня порой прихватывал. А кто же такой этот Арсеньев? Он сам, конечно, но с добавкой некоторой идеальной. Свою собственную жизнь описывал — по фактам, событиям реально вполне, а по внутренней сути такой, какой хотел бы ее видеть, иметь, в прошлое глядя. И так это чудесно, волшебным было — вспоминать одну картину за другой и описывать их, от всего случайного, мусорного, суетного освобождая. Писал и чувствовал, что это не только его собственная жизнь, но и вообще жизнь человеческая со всеми ее радостями и печалью. С радостями прежде всего, их память выбирала жадно, искала, как сокровища, как оправдание жизни самой. Жизни гимн и получался, а значит, Творцу ее гимн. Может, именно в пору той работы ближе всего к вере, к Богу и был... Удивительно, что та жизнь, которую он за столом, над бумагой, с пером в руках проживал, представлялась интереснее, богаче, ярче и даже реальнее той давней, прошлой. Он не просто воскрешал в словах былое, но в иной, высший, нетленный ранг его производил. Творил именно. За семью замками была Россия, не войти, не въехать, а он входил, как и когда хотел, и брал, что нужно. Когда же кончал работу, опьяненный ею, сомнамбулически смотрел вокруг, словно припоминая, где он и что с ним, то иная, новая радость в душе вспыхивала вдруг — Галина! Рядом она, руку протянуть... Одно представление о ее молодой женской прелести вызывало озноб и нетерпение, а ведь еще и иное было. Никто и никогда его работу не знал, не понимал, не чувствовал, как она в ту пору. Каждый кусочек новый давал ей читать, а потом выслушивал робкие ее суждения и даже учитывал их порой. Девчонка была совсем, но и вкус истинный имела, и талант, и написала немало уже. Он-то пристрастен мог быть, но ведь и другие это признавали, печатать начинали все чаще...

Она тоже работала по утрам (сам следил, понуждал к этому) и выходила из своей комнаты в то же примерно время, что и он. И были разговоры долгие обо всем на свете, но чаще всего, конечно, о литературе. Поучал, на-

ставлял ее, как мастер, как старший товарищ, и какое наслаждение было видеть ее внимающее лицо, взгляд встречать пристально-серьезный и все-таки, в самой глубине, нежный, зовущий...

Сидели в шезлонгах на террасе, прогуливались по ней же, любуясь на даль необъятную с хребтом Эстереля и морем у горизонта, или поднимались вверх, в горы над домом. Вот тут можно было и обнять ее наконец, и сесть рядом на скользкую хвою под соснами, и лечь... Только в эти, самые интимные, минуты могла она ему “ты” сказать, по имени назвать — со смущением, с трудом. Это и умиляло, и забавляло, и обидало одновременно как-то. И каким же он чувствовал себя молодым тогда! В тридцать лет была у них разнища, но исчезала вдруг совершенно. Вспомнил как-то французскую поговорку: любовь и старых ослов заставляет танцевать. Ну, какой же вы осел, да еще старый, воскликнула она тогда, смеясь. Сатир разве что, нимфу догнавший...

Счастлив был, да. Всю жизнь этого счастья ждал и дождался. Все сошлось, совпало, воплотилось в ней, Галине, о чем только мечтать мог. Его была женщина — и телом, и душой, и даже умом каким-то особенным, мягким, женственным. А если еще и работу горячую, наслаждение дающую, вспомнить, то вершина жизни тогда и была им, наконец, достигнута, и озноб страха порой охватывал — не может же такое длиться и длиться, вниз ведь должно все когда-нибудь пойти... Да это-то терпел, другое было тяжело — Вера. Мучительная, непроходящая саднила в душе вина: не просто любовницу молоденькую завел на стороне, а жить в дом ее привел. Смирилась в конце концов, а куда ей было деваться в сорок семь лет, двадцать из них с ним проживши? На папёрть с протянутой рукой идти, не говоря уже об ином-прочем? Теперь и вообразить трудно, как мог решиться на такое, а тогда некая не подвластная собственной воле сила им распорядилась — послала судьба дар долгожданный, драгоценный, так и держи его при себе обеими руками... Наладилась понемногу жизнь втроем, уравнилась, а через три года Зуров, “Скобарь”, появился. Вера и взяла его под крыло по инстинкту материнскому да и ему в отместку, пожалуй. И не возразишь — у тебя “ученица”, а у нее “питомец”, вроде сына приемного.

В Париже особенно тяжело бывало — толклись четвером в квартирке маленькой. Ссоры по пустякам, раздражение взаимное. Галина время от времени уходить стала, то на неделю, а то и на месяц, в дешевых отельчиках одиноко жить. Хоть и навещал ее почти ежедневно, а все-таки ревновал. Как знать, с кем она в его отсутствие бывает...

Бедность тоже отношений не улучшала. Хоть и печатался немало, хоть и хвалили его на все корки, первым русским писателем объявляя, великий ряд классиков замыкающим, но денег это не очень-то прибавляло. Вечерами чтениями публичными приходилось прирабатывать, а хуже, унижительнее такого заработка ничего нет. Терпел, зубы стискивая.

Время перед получением Нобелевской премии было самым трудным. Ожидание, тревога с небывалым еще безденежьем совпали, туфли жене починить не на что было. Хорошо еще, что в Грассе эти месяцы сидели, природа тамошняя, как припарка целебная, действовала. Вечное его утешение, потому и рвался к ней всегда через все помехи.

Работал много, и чем ближе срок решения шведской академии подходил, тем больше. И на смирение христианское себя настраивал — будет неудача, третья уже, прими покорно. Может, это даже на пользу и душе, и работе, и жизни всей пойдет, как знать? Разве не бывает, что победа оборачивается поражением, а поражение победой? Да сплошь! Говорить такое себе легко было, а ждать и терпеть становилось неведомо. Деньги деньгами, но суть самая в ином была. Признания ждал-жаждал, да не в газетах, журналах эмигрантских, а всеобщего, мирового, которое только премия дать и могла. Жаждал и не стыдился, потому что уверенность была — достоин.

Галина держалась с ним в ту пору так заботливо, внимательно и нежно, что это и трогало его, и злило. Крикнул ей однажды: “Что ты со мной, как с больным! Неизвестно еще, чем эта премия для нас с тобой обернется, если и получу”. И ведь накаркал...

В решающий день пошли с Галиной в кино, чтобы отвлечься. На экране шла какая-то бестолковщина забавная, и вдруг сзади шорох и голос Зурова над ухом: “Звонок из Стокгольма... Нобелевская премия ваша”. Тут же вышли, он осматрелся и вдруг почувствовал, что в душе у него не ликование, а грусть...

В Париж поехал один, захотелось без помех погулять, отпустить душу на волю после мучительного ожидания. Встретили его истинно как героя, буквально носили на руках. Была и зависть, как не быть, особенно у Мережковских, скрывали ее под кривыми улыбками. В основном же литературная эмиграция приняла премию как общую победу. Наша взяла! Знай наших! Да, погулял так, что приехавшие жена с Галиной еле его отходили, в себя привели. Жена с Галиной... С ними и в Стокгольм поехал, Галину перед самой поездкой удочерил, чтобы имелась у нее законные основания быть с ним рядом. Вот уж когда почесали языки, позлословили, да и было над чем. Диковатая затея, не поспоришь. Галину уговорил с великим трудом, но уж очень хотел рядом ее иметь в минуты своего торжества, высшего триумфа. Убедил, что она имеет на это право, потому что без нее и “Арсеньева”, может, не написал бы. Она ведь и музой его в этой работе была, и помощницей вдобавок...

Запомнилось, как по пути в Стокгольм у вагонного окна в ранних сумерках вдвоем с Галиной стояли. Северная Германия плыла-тянулась, предзимняя уже, с полями пустынными, припорошенными снегом, с перелесками голыми, черными. И ему чудилось, что никакая это не Германия, а Россия. Галина сказала вдруг об этом самом, и он в который раз поразился, как же они близки, как понимают друг друга. Долго стояли, переговариваясь изредка, и так это было хорошо и так почему-то прощально-грустно. Да она и об этом сказала в конце концов, прерывисто, по-детски вздохнув — о том, что лучшая, главная, может быть, часть их общей жизни позади. Он согласился с ней в душе невольно, но тут же испугался этого согласия и стал говорить поспешно — нет, нет, что за глупости, лучшее, главное впереди как раз! Говорил и чувствовал, что права-то она. Почему, Бог весть, но права...

Торжества прошли так, что лучшего и пожелать нельзя. Он, по общему мнению, был на той высоте, которая вообще возможна: благородно сдержан, аристократичен, остроумен, достоинство истинного полон... Так писали газеты, и в одной даже мелькнуло: изысканно-красив, и это понравилось ему едва ли не больше всего. Если же всерьез, то самым высшим для него моментом было окончание собственной речи, гром аплодисментов и мгновенное, как вспышка, представление о пройденном пути — от нищеты, одинокой юности в российском захолустье до этого рукоплещущего, блестящего зала...

Галина же во время торжеств была грустна, а если и улыбалась, то принужденно-грустной улыбкой. Как ни выхватит ее пронзительно-милое лицо из многих других — грустна... Он даже раз прикрикнул на нее: “Что ты как в воду опущенная?! Свадьбу с похоронами спутала, что ли?” На обратном пути она, простыв, заболела, и пришлось оставить ее в Германии на руки Степунам, старым добрым знакомцам, до выздоровления. Все и обошлось, а весной в Грассе Маргарита, сестра Степуна, приехала. Что ж, прекрасно, подумал он тогда, новый человек, новый интерес...

Поселили их вместе (так естественно это представлялось) и прозвали в шутку “барышни”. И все было хорошо, а потом, понемногу, стало казаться странноватым. Уж очень “барышни” неразлучны были и держались как-то на особицу. И с ним Галина другой стала, отчужденней и холодней. Наедине старалась не оставаться под разными предлогами, близости избегала всячески.

Понимание пришло, как вспышка, мгновенно все озарившая. Почудилось, что умрет вот прямо сейчас, в момент озарения этого страшного. Потом мелькнуло, что убить кого-нибудь надо — ее, Маргу, себя... Себя на трепье место все-таки поставил, усмехнулся он, вспоминая.

А дальше кошмар настоящий пошел, затмение, мрак, туман кроваво-красный. И в Грассе, и в Париже. Два года был совершенно безумный, спившийся человек. И разорился вдобавок — собрание сочинений за бесценок

отдал, нобелевские деньги жулики какие-то выманили. Ничего не мог сообразить толком, рассудок как отшибло. Тяжелей всего перепады душевные были — то задуть Галину хотелось, то все простить и возвращение вымолить. И еще сколько всего было в безумие это двухлетнее намешано — и гордость за признание мировое (оставалась же она все-таки), и чувство позора, стыда, и жажда мести, и боль душевная такой силы, что переходила прямо в физическую. Жена так за него тогда боялась, что, пожалуй, готова была просить Галину вернуться в “ученицы”. Вот не любит он Достоевского, а в ту пору достоевщина сплошная как раз и была...

Все-таки выжил, отрезвел, оклемался понемногу, а там и к столу присаживаться стал. И смирение Бог послал спасительное. Был тебе подарок щедрый? Был. Вот и будь благодарен, и не ропщи. Что было самого хорошего, истинно волшебного, то в душе и останется в конце концов...

А теперь что ж, теперь он порой и рад даже, что Галина рядом, укрылась под его кровом в трудную минуту. Сначала из Парижа вместе от немцев бежали, а потом в Грассе, в свободной зоне осели. А от того, прошлого, давнего осталось ли что? Да и осталось, брезжит, дотлевает, как поздняя заря...

3

Бунин сидел на террасе, смотрел на Грасс, на горы, на море. Одно из лучших, пожалуй, мест на свете! Недаром Мопассан считал вид на Антибский мыс с моря самым прекрасным из того, что он видел. А если глаза к небу поднять, то скоро чувствовать начинаешь, что вокруг никакой не Прованс, а Орловщина, Глотова, Огневка... Небо не то, что земля, везде одинаковое почти, разница лишь в оттенках. Васильковое оно какое-то сейчас, в середине октября, да такое же, может, не только здесь, а и над Огневкой, над полями ее осенними, скудными...

Послышался хруст гравия, и он увидел жену с Галиной. Шли они понуро, особенно жена, и он подумал, что опять какая-нибудь новость веселенькая из России.

— Было радио, взяты Калинин и Калуга, — сказала жена.

— Какой Калинин! — Бунин вскинулся так, что шезлонг под ним взвизнул. — Тверь!

— Пусть Тверь, — согласилась жена терпеливо. — Не в словах дело.

— И в словах тоже! Назвать Тверь именем какого-то слесаря...

— Он из типографских наборщиков, кажется, — сказала Галина.

— Что ж, хорошо свое имячко набрал, целую Тверь накрыть хватило!

— Ян, немцы ее заняли, возьми в толк, наконец!

— Да, да, понимаю... — Бунин помрачнел, помолчал, потер лоб ладонью. — И Калугу, говоришь? Бывал, сестры Маши город. Хорошо, что его не переименовали в какой-нибудь Васьюград... Господи, да это ж, считай, Подмосковье дальше! Как раз в “Войне и мире” про Бородино сейчас читаю, надо же совпасть...

Что-то прозвенело вдали, остро и коротко. Удар по железу, колокольчик какой-то? Колокольчик, дар Валдая, мелькнуло у Бунина. И тут же Калуга в мае девятисотого года вспомнилась. Вот тогда ему был от Калуги дар, внезапный и щедрый... Значит, не просто в Калуге немцы теперь, но и в той гостинице губернской, в которой он провел одну из лучших ночей в своей жизни...

— Ох, мне же на кухню надо бежать, отбывать повинность, — сказала жена.

— Ты же позавчера, по-моему, отбывала? — вскинулся Бунин. — Не много ли на себя берешь?

— Так оно выходит...

— Выходит, что Зурова подменяешь, давно заметил! С чего этому бугаю здоровенному такая честь?

— У него работа над романом, наконец, пошла, отвлекать жалко.

— Прекрати! И себя не позорь, и меня!

— Так что же, я и в этом уже не вольна?

— Не вольна, да! Не может жена Бунина из-за какого-то остолопа на кухне маяться! Да я его сам в это носом ткну, как щенка в дерьмо!

— Ян, не смей! — воскликнула жена и с возмущением, и со слезой. — Хоть чем-то в самой себе я могу распорядиться, не полной же твоей рабыней быть?

— А о здоровье ты думаешь? Вон, желто-белая стала вся, как бумага третьего сорта!

— Здоровье-то мое собственное все-таки.

— И мое тоже! Как и мое для тебя! Основы жизни брачной, что ли, тебе объяснить прикажешь? Или, лучше того, мне на кухню пойти, за молодца этого поработать, время для творчества его великого ему освободить?!

— Ты как хочешь себе, а я обещаю и обещание сдержу...

— Ладно, беги, обслуживай своего питомца! До выноса горшков скоро дойдет! — крикнул Бунин вслед уходящей жене.

— Иван Алексеевич, что-то вы уж очень резко... — заметила Галина.

— Резко?! Да я его вчера чуть ножом кухонным не пырнул! Я за нож, а он за табуретку... Представь, заявил, что я луковицы с его грядки заповедной таскаю!

— Да, действительно... Ну, и что же?

— Бахрах вошел, растащил бойцов.

— Неужели вы могли бы?..

— Ножом-то? — Бунин усмехнулся. — Нет, конечно. Веру жалко, себя жалко, да и его, шельмеца, заодно. Хотя... Кровь-то бунинская, суходольская, в ярости страшная!

— Да уж знаю, — сказала Галина тихо.

— Кому и знать... Ладно, ну его в задницу, Скобаря этого. Ты-то как живешь?

— Как видите, — развела Галина руками. — На ваших глазах каждый день.

— А что я вижу? Грустна да уныла, вот и все. И работу забросила.

— Не до работы теперь.

— Теперь-то как раз и работать, когда ничего иного нет. Даже и проголодь наша в пользу, голова и душа проясняются.

— У вас, но не у меня. Я все вспоминаю, как вы “Арсеньева” писали, а я свои пустяки. Вот это была работа!

— И жизнь!

— И жизнь...

Ветерок в вайях шуршал, запоздалый кузнечик стрекотал где-то рядом, автомобильный гудок долетел из Грасса, долгий, странно нежный, как человеческий зов.

— Неопределенность положения мучает, — сказала Галина. — Долго-то здесь не прожить.

— Это почему?

— Тягостно вместе, тяжело, вы же видите...

— Вместе тяжело, а врозь будет еще тяжелее, — твердо сказал Бунин. — Вот, запомни, что я сказал.

— Запомню. Спасибо.

Он почувствовал на своей голове ее легкую, теплую руку. Замер, но рука тут же исчезла, и по гравии зашуршали удаляющиеся шаги. Он все сдерживался, не поворачивая вслед за ней голову, и повернул наконец. Она уходила медленно, задумчиво как-то и, казалось, была точно такой же, как в то лето давнее, первое здесь... Бунин напрягся, будто вскочить, догнать, вернуть ее хотел. Да и хотел, но зачем? Все не только с возу упало, а и быльем поросло. Вспомнилось вдруг, как на новогоднем эмигрантском балу, где были впервые вместе, к Одоевцевой его приревновала и убежала полураздетая, в одних туфельках, в свой отельчик. Вот тогда можно и нужно было догонять, утешать, разувирать. И гордость чувствовать — ревнует! Любила, конечно... Иначе разве смогла б все сплетни, насмешки, злословие годы и годы терпеть. Зинка Гиппиус и руку-то ей подавала, в сторону отвернувшись демонстративно. Уж чья бы корова мычала! Чучело бесполое, а тройственные

союзы устраивала-таки... Многое Галина вынесла такого, что лишь любя вынести можно. А теперь? Может, и у нее тлеет еще уголек какой-нибудь завалящий? Вряд ли... Сам же когда-то написал, что для женщины прошлого нет. Это мы, мужики, все с прошлым этим носимся, как с писаной торбой... Ладно, брось, не трави попусту душу. Другое для этого занятия есть, поважней — Россия...

Он встал и начал ходить по террасе из конца в конец. Движение переменило душевный настрой, и стало вдруг представляться Бородино толстовское, написанное с такой мощью, что казалось: и он там был — и в деревне, и в полях вокруг кочковатых, кустарником местами поросших, и в самой той битве. И Наполеона видел с его величием ничтожным, и Кутузова с величавой простотой, и батарею Раевского, стоявшую несокрушимо... Да, но это роман всего лишь, пусть и Толстого! Ну и что ж, что роман? Если так можно было об этом написать, значит, так оно, в сущности глубинной, и было. В этом связь высокой литературы с Провидением, с Богом самим... Вдруг устроят немцам с Божьей помощью новое Бородино? Как же, держи карман, будет Бог заклтым безбожникам помогать! Хотя безбожники-то наверху лишь, а внизу народ замороженный, Россия...

В дальнем конце террасы за низкорослыми, хилыми деревцами оливков были зуровские грядки, и Бунин заметил там какое-то движение. Подошел поближе и увидел девчущку, сидевшую на корточках и дергавшую лук. Небольшая кучка уже надерганного лежала рядом с ней. Он присмотрелся — девчущка была знакомой, не раз попадавшей ему на здешних дорогах и тропинках. Он даже называл ее про себя “Наташа Ростова”, так глазаста, большеерота, полна бьющей через край жизни она была.

Бунин стоял, не зная, как быть дальше. Скобарь мерзавец, конечно, но ведь с грядками своими с самой весны возился, в поте лица добывал лук свой. Вроде бы и нехорошо было плоды трудов этих не защитить. Да, но ведь и девчущка их ворует по причине вполне весомой — жизнь голодная. Не персики какие-нибудь ворует, а лук, пищу бедняков.

Он сделал неосторожное движение, и девчущка замерла, осматриваясь. Бунин готов был повернуться и уйти, но тут же встретился с ней взглядом. Ее глаза стали круглыми, и она выпрямилась медленно с луковицей в руке.

— Не бойся, — мягко сказал он по-французски. — Не бойся, все хорошо.

Он пошел к ней, улыбаясь, и она невольно, бессознательно начала улыбаться ему в ответ.

— Как тебя зовут?

— Жанетта, — прошептала она.

— О-о, тут рядом вилла есть с таким названием, знаешь?

— Знаю, конечно, — сказала она погромче.

— Совсем хорошо... — Он помолчал, глядя, как страх уходит из ее глаз, сменяясь любопытством.

— Забирай лук, — сказал он.

Недоумение мелькнуло в ее лице.

— Забирай, забирай, — показал он на кучку лука.

Она присела и быстро побросала луковицы в подол своего длинного, захлапанного платья, выпрямилась, взглянула вопросительно.

— Вот и все, — кивнул он. — Только больше так не делай!..

— Хорошо, мсье.

Уходила она медленно, а вот и обернулась с прощальной улыбкой...

Прямо хоть святочный рассказ пиши, подумал Бунин. У Чехова что-то похожее есть, “Устрицы”, кажется. Да и “Ванька” тоже. Пустяк вроде бы, но рассказ-то великий! Одна фраза “На деревню дедушке” чего стоит, навсегда в обиход вошла.

Он пошел к дому, а девчущка с ее последней улыбкой все вспоминалась ему. Ну, а с Зуровым как быть, рассказать, что ли? Нет и нет! Получится, что ты доказательство своей невиновности нашел. Унизительно и смешно! Девчущка больше не придет, конечно, а если и придет, не велика беда...

Около пяти, в самое любимое свое, самое спокойное, располагающее к созерцательности время, Бунин долго стоял у открытого окна кабинета, смотря на небо, горы, полоску моря у горизонта, подумал вдруг, что, если бы из всех чувств, всех способностей человеческих осталось у него одно лишь зрение, то и тогда бы он мог быть счастлив. А видеть достаточно было бы все то же небо, горы, море. Или поле, реку, сад, лес... Или даже одно дерево вот это с пестрым дятлом на стволе. И не просто этого хватило бы для счастья, но, возможно, в этом-то оно, в самой сути, для него и состоит? Видеть Божий мир, прелесть и гармонию его понимать — и ничего больше не надо. Самое это чистое, радостное, легкое, остальное в жизни лишь сутолока, морока, дым и чад... А любовь? Так вот и люби это небо, эти горы, эти деревья, уж они-то не подведут, не обманут, не обернутся болью и отчаянием, как женская любовь...

Неожиданно для себя он достал папку с рассказами, написанными осенью прошлого года за два примерно месяца. Пересмотрел и поразился — тринадцать! И маленькие совсем есть, и очень большие. Книга целая! Настоящий творческий запой случился, иначе и не назовешь. С утра до вечера работал, выходил из кабинета лишь размяться ненадолго и был совершенно хмельным, не понимая хорошенько, то ли он у себя дома, то ли там, в обстоятельствах очередного рассказа. Бывало даже, что, кончив один рассказ, сразу принимался за следующий. Да и всегда, всю жизнь так примерно происходило. Первую часть “Деревни” за две недели написал, “Суходол” за месяц с небольшим. Потом, разумеется, все вычитывал тщательно, что-то менял, правил. Но первый, основной текст получался, как горячий выброс, выплеск души. В лучших, само собой, вещах. Малоудачное трудно писалось или вообще оставалось недоделанным, брошенным.

Он перебирал рассказы и вдруг задержался на “Волках” и прочитал их, кое-что изредка поправляя, вычеркивая, в основном. Прочитал и сам удивился — совершенный пустяк, а ведь хорошо! Едут в тележке ночью гимназист с мелкопоместной барышней, он целует ее то в шею, то в щеку, вдруг волки на дороге, лошади в сторону дико рвутся, барышня рассекает при этом щеку о что-то железное, и остается шрам в уголке губ. Последняя фраза была хороша особенно: “Те, кого она еще не раз любила в жизни, говорили, что нет ничего милее этого шрама, похожего на тонкую, постоянную улыбку”. Потом прочитал “Визитные карточки”, также вскользь кое-что исправляя. И эти несколько страничек были очень неплохи. Близость плотская, случайная в паровой каюте — и тут же прощание. “Он поцеловал ее холодную ручку с той любовью, что остается где-то в сердце на всю жизнь, и она, не оглядываясь, побежала вниз по сходящим в грубую толпу на пристани”. Так откуда же любовь, да еще такая, спросил он себя, сам как бы удивляясь написанному. Не знаю, ответил, Бог весть... А лучше всего, что толпа на пристани именно грубая, и тоже толком не объяснишь, почему...

Набросок какой-то затесался в готовые уже рассказы, он прочитал и его. Да и не набросок это, рассказ, кое-что только добавить надо. И опять лучше всего конец: “Помню, как провожал ее на Курском вокзале, как мы спешили по платформе, заглядывая в переполненные народом зеленые вагоны... Помню, как она наконец взобралась в сенцы одного из них, и как мы говорили горячо, прощаясь, как я обещал ей приехать через две недели в Серпухов... Больше ничего не помню, ничего больше и не было”. Вот так это все и кончается — ничего, нигде, никогда...

Прочитав рассказ “В Париже”, он почувствовал себя уставшим. От чего, подумал и грустно, и раздраженно. От простого перечитывания с легкой правкой? А как же ты все это написал стремительно год всего назад? Ослабел, что ли, постарел всего за год? Вполне возможно, если вспомнить, каким тяжелым год оказался, но не в этом все-таки суть. Настрой рабочий дает силы, всегда его дождался, готовился исподволь. Уединения искал, чтения особенного, серьезного, душу укрепляющего. Даже есть начинал по-иному, скудней и проще, спиртного чурался. И ведь ничего не решал заранее, само

собой это совершалось, по внутреннему, тайному какому-то приказу. Вот и древние русские иконописцы к работе готовились похожим образом. Что ж, в самой глубине истинное художество общий корень имеет, тут что иконы писать, что рассказы. И Чехов говорил, что в рабочую пору до обеда ничего, кроме бульона и кофе, в рот не берет, иначе дело идет плохо. Как часто он вспоминается, словно родной, самый близкий человек. Как брат старший, опытный и мудрый. Надо, надо книгу о нем написать, тут и желание, и долг тесно сходятся. О Толстом написал, сдвожил-таки, напишешь и о нем. Удивительно, как с Толстым название, в самом начале работы пришедшее, делу помогло! “Освобождение Толстого”. Едва мелькнуло, так все и озарилось сразу. В смерти в конце концов освобождение, к ней человек и идет всю жизнь, сбрасывая путы земные... Сказал как-то Антон Павлович: вот умрет Толстой, все пойдет к черту! И ведь угадал настолько, что и сам бы поражен был. Его-то герои, в пьесах особенно, все печалью, да тоской, да бессмыслицей жизни маялись, а такие вскоре пришли времена, что все это блажь стало выглядеть. Уцелеть бы только, в печь чертову, адову не попасть... А что было бы с Чеховым, если б прожил он еще двадцать, тридцать, сорок лет? Вот теперь бы ему восемьдесят один год и был, Толстой даже чуть подольше продержался. Эмиграция? Он попытался представить себе Чехова эмигрантом, но ни одной черты, детали не давало воображение. Это даже за дело его — сам-то уехал, хоть и держался за Россию до самой последней возможности. Так в чем разница, почему Чехов в эмиграции совершенно непредставим? Может, в корнях родовых все дело? Ты-то дворянин столбовой, чем и гордишься всю жизнь, а он внук крепостного, разница громадная. Да, но ведь бедны оба с юности были, а потом у него даже и благополучнее все пошло, университет закончил, доктором стал, а ты со своей голубой кровью так гимназистом-недоучкой и остался... И все-таки, похоже, дело в корнях. Ты, аристократ нищий, уехал, а он, простолюдин, остался бы с народом своим, пусть и обезумевшим... Ну, остался, а дальше что? Уж никак не запел бы он под большевистскую дудку. Скорей всего литературу бы оставил и работал бы себе врачом для бедных. Вернулся бы от любовницы-литературы к медицине-жене, как сам это и определял. Толстой, кстати, тоже мог бы и до четырнадцатого, и до семнадцатого года дожить, почему нет? Крепок был на редкость, две болезни страшные подряд в Крыму в старости перенес, на волоске висел и все-таки выдюжил. И работал потом много, и на коне верхом ездил до самого бегства из Ясной Поляны. А умер странником у дороги. И ужасное что-то в такой смерти есть, но и величественное тоже... Томас Манн, на Нобелевскую премию тебя выдвигавший, считал, что, будь Толстой жив, мировой войны могло бы и не случиться. Вот это оценка человека и писателя! С чеховской, кстати, совпадающая...

В последнюю встречу шел по Арбату в страшно морозный вечер и неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинистой походкой. Остановился, сдернул с себя шапку. Узнал сразу, заговорил старческой скороговоркой, шапку тут же заставил надеть. Лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Большая рука, которую он вынул из вязаной перчатки, была совершенно ледяная, а рукопожатие крепкое и ласковое. И слова последние, со взглядом горестным: “Ну, Христос с вами, Христос с вами...”

А Чехов чаще вспоминается в Ялте, в жару, на набережной.

— Вы любите море, Антон Павлович?

— Да, только очень уж оно пустынно.

— Это-то и хорошо.

— Хорошо быть молодым офицером или студентом, сидеть в людном месте, слушать веселую музыку...

Так просто, так обыденно сказал, и такая была в этих словах тайная печаль! О чем? Об ушедшей молодости, об уходящем здоровье?

4

Время от времени Бунин, измученный тревогой о России, запрещал себе думать о ней, положение на фронте узнавать. Удавалось это с трудом, а если удавалось, то тревога, загнанная глубоко внутрь, превращалась в злую,

ищущую выхода и разрядки тоску. И он становился совершенно несносен и для себя, и для других, начинал бояться какой-нибудь вспышки гневной, безобразной, сторонился домашних, ходил до усталости по горным тропинкам. Помогало это плохо, и тогда оставалось последнее средство — уехать в Канны или Ниццу и побыть там одному.

День выпал хорош — теплый не по времени, солнечный, с живым, бодрящим ветерком с гор. Пока ехал до Ниццы, в погоде что-то едва уловимо изменилось, и он не сразу сообразил, что. Пеллом словно бы все подернулось — и небо, и море, и горы, и солнце. Не раз он совершенно спокойно наблюдал нечто похожее, а тут вдруг почувствовал с недоумением, что ему от этой перемены тяжело, тошно. Почудилось, будто пепел пожаров из России донесло. И ветер как раз северо-восточный... Он стиснул зубы со злостью. Ну, сколько можно душу травить! Уймись, дурень! Далекое все это и давно чужое... Чужое! Да в том-то и беда, что третий уже месяц не только Россию терзают и душат, а и тебя самого в самом почти прямом, физическом смысле, до ощущения удушья, удавки, петли...

Пляж был почти пуст и казался гораздо больше, чем летом, в многолюдье. И особенная печаль, тоска даже в этой пустынности чудилась, словно люди не просто не пришли сюда, а вообще исчезли из мира, умерли, погибли. Бунин чертыхнулся: на что ни посмотришь, о чем ни подумаешь, за всем Россия с ее погибелью стоит. Взяв шезлонг, он устроил его так, чтобы было видно и море, и горы в стороне. Высокая, стройная женщина прошла мимо, остановилась неподалеку, постелила плед, положила на него книгу и сбросила халат. Какое тело удивительное — тонкое, но и сильное, бледнокожее с сиреневым оттенком. А лицо круглое, простенькое должно быть. И веснушчатое, пожалуй... Ну, точно, угадал! Северная дева, англичанка скорей всего. Молоденькая и какая милая! И совсем одинокая здесь, на чужой стороне. Заваруха военная ее сюда, скорей всего, занесла. Одиночество молодости, как оно знакомо! И не скажешь даже, когда его больше — на заре жизни или теперь, жизнь, в сущности, прожив...

Девушка неожиданно и резко встала и побежала к морю — легко, умело, быстро. Скорости не замедлив, ворвалась в воду в куче брызг, вперед упала и поплыла, попеременно и далеко выбрасывая руки. Вот остановилась, приподнялась, как бы осматриваясь, и так же быстро, бурно поплыла к берегу. А вот уже и к пледу бежит, крепко натирается полотенцем, так, что бледная ее кожа краснеет на глазах. Да с чего ты взял, что она северный тип? Да так и мы северный во многом народ. Вот и ей, лихой девице этой, почему бы русской не оказаться? Мысль странно обрадовала его. Может, заговорить, узнать? Он взглянул на нее с готовой уже на языке шутливой фразой, но она опередила его. Кивнула на прощанье приветливо, пожелала на чистейшем французском языке приятно провести время и пошла к кабинкам для переодевания.

Взглянув на море, он медленно погружался в любимое свое созерцание, когда весь целиком превращаешься в огромный, все видящий и все принимающий в себя глаз. Море чаще всего такое вызывает, да еще степь. А любимое самое — сочетание моря и степи ковыльно-полынной, как под Одессой. Сколько там часов и дней блаженных, истинно райских прошло! Там впервые и вполне понял, что человек он закваски южной, что жаждет кровь его солнца, зноя, простора бескрайнего вокруг. Горы хороши, конечно, но жизнь в них порой и тяжеловата, — душа от тесноты устает. Горы вдали — вот чудо истинное, и как это в толстовских “Казаках” волшебным образом показано. Едет Оленин, видит вершины гор дальние, белые и, о чем бы ни подумал, что бы ни почувствовал, все кончается у него одной и той же мыслью-фразой: “А горы!”

Так, словно он каждый раз к Богу обращается...

С внучкой Толстого Татьяной Михайловной недавно встретиться пришлось и даже в гости ее позвать. Больше того, “Балладу” свою ей прочитал. Читал и волновался невольно — внучка Толстого слушает, а значит, немного и он сам... И еще одну внучку Бог послал, Пушкина. Как узнал, что она в Ницце прозябает-бедствует, сразу искать ее кинулся. Разыскал, в Грасс по-

гостить привез, окружил всяческой заботой. Читать, правда, ничего не читал, видел, что не в коня будет корм. Бестолкова, да, пожалуй, и глуповата оказалась внучка, то ли по старости, то ли отроду. Природа, видать, не только на детях гениев отдыхает, но порой и на внуках. И все-таки, как ни жалка она была, нет-нет, а прорывалось и перед ней благоговение истинное. Пушкинская кровь, святыня! Да, у Толстого горы, а у Пушкина море как написано удивительно, с жизнью, с судьбой человеческой слито.

...Куда же // меня б ты вынес, океан, // где капля блага, там на страже // иль просвещение иль тиран... Ай да Александр Сергеевич, какую оплеуху просвещению казенному влепил! И ведь точно так оно в твоей собственной судьбе оказалось. Измучило так, что даже из гимназии сбежал, до конца не вытерпел. Эдакий житейский пример к пушкинским стихам получился. Ну, а академика звание? Это другое, это не просвещения, а самообразования плод и, главное, таланта. А всего поразительней, что в долгой уже жизни дня, пожалуй, не проходило, чтобы Пушкина или Толстого так или иначе не помянуть. Истинно, Боги его в литературе, поводыри души. И ангелы-хранители, конечно, иначе б не устоял под напором всяческой дури бесовской, новомодной, модернизмом именуемой...

В кафе на набережной, как и на пляже, было пусто. Хозяин, которого Бунин знал с первых лет жизни в Грассе, улыбнулся ему приветливо. Он помнил его еще официантом, стройным и кудрявым, а теперь видел грузного, лысого, пожилого человека. Но глаза были те же, давние — смесь лукавства, веселости и грусти. Французские глаза.

— Добрый день, Поль.

— Добры, добры, мсье Бунишь.

— Бунин.

— Да, да. — Поль хлопнул ладонью по лбу. — Бунин, да. Что дать приказать?

— Бордо бутылку и сыр. Сыр хорош ли?

— Не хорош, нет.

— Все равно, давайте.

Бунин неплохо говорил по-французски, но при любой возможности этого избегал, как вот теперь, с Полем. Казалось, что, перейдя вполне на французский язык в разговоре с французами, он бы некую унижительную измену совершил. Чуть, блажь, которая все не проходила и теперь уже, конечно, не пройдет.

Выбрав столик в тени огромного платана, откуда было видно море, Бунин попробовал вино, оказавшееся кислым, а сыр отдавал мылом. Что ж, надо мириться по нынешним временам. Он выпил стакан залпом и скоро почувствовал, как первый, легкий хмель согревает ему душу. Было и без него не худо, а с ним стало совсем хорошо. Много пришлось попить на веку, ничего не скажешь. Пить-то пил, но и дело разумел. Алешка Толстой был на такое мастер. Обвязывал утром, с похмелья, голову мокрым полотенцем — и за стол. И работник был первостатейный, и гуляка, и хитрец-мудрец. При всех властях устроиться умел. Теперь вот в Совдепии большим бариним живет, граф, видите ли, советский. Напоказ его держат: всех, мол, приветим, облагодетельствуем, только верно служите. Мерзавец он, конечно, а чем-то ведь и приятен был. Талантом, натуральностью, жизнелюбием, похабщинкой даже такой неприкрытой. Встретились не так и давно в парижском кафе случайно; домой, в Россию звал, золотые предрекал горы. Тиражи миллионные, деньги сумасшедшие, авто с шофером, дачу в Крыму наподобие дворца. И встретят, дескать, с колоколами... Заманчиво, что лукавить, даже и дернулся в эту сторону, да тут как раз война, не до того стало. Оно, пожалуй, и к лучшему. Душе там, в Совдепии, некуда бы приткнуться было, а богатством душу не насытишь. По слову Апостола: “Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит”. Да, а второй друг-приятель, Горький Максимович покойный, уж так в новой этой России вознесся, что страшно было. Нижний Новгород — Горький, Тверская в Москве — улица Горького. Тут не до гордости, тут ужас должен человека охватывать. Получается ведь, что с живым обходятся, как с мертвым. И как же он жил

там, Господи? По слухам, как в золотой тюрьме... Ну, а тебе самому какво было и есть, с твоей свободой? Письма о помощи пишешь то в Швецию, то в Америку, ходишь, в сущности, с протянутой рукой: подайте старику, Нобелевскому лауреату, на пропитание. А что делать — без стыда рожу не износишь, истинно так. И еще говорят — аки наг, аки благ... Есть у Толстого в дневниках, что если бы был свободен, то жил бы, как юридивый, и ничем бы не дорожил в жизни. Он-то, пожалуй, смог бы, а вот ты и нет. Не по Сеньке такая шапка...

За спиной у Бунина послышались громкие, распаленные голоса. Женский выделялся, мужской покрывал — низкий, напористо-злой. Он был даже красив, как ни странно. Контральто, определил Бунин, не кричит, а поет прямо-таки. Смысл улавливался с трудом, и вдруг из французских русское слово вырвалось и отпечаталось смачно: “Свинья!” Бунин усмехнулся, довольный, и, обернувшись, увидел крупную, грудастую женщину в красном платье и тощего, сутулого, невзрачного мужчину. “Иди, иди, нечего шпионить! — кричала женщина. — Я вольный человек!” Она теснила его высокой своей грудью, и он отступал шаг за шагом. Потом махнул рукой, повернулся и ушел быстро. Женщина стояла неподвижно, подбоченившись и словно бы решая, как ей быть дальше. Бунин все смотрел на нее.

— Что выставился, старый лягушатник? — сказала вдруг она по-русски своим приятным, негромким теперь, для самой себя, голосом.

— Рад соотечественницу встретить, — улыбнулся Бунин.

— Ой, как нехорошо! — смутилась женщина. — Простите, ради Бога!

— Пустяки, даже мило. Только с лягушками вы ошиблись, не ем. А вот что старый, это верно.

— Как сказать... — Женщина медленно шагнула к столику, посмотрела испытующе. Глаза у нее были яркие, василькового сильного цвета. — И старый, и нет.

Бунин рассмеялся.

— Вот, вот, в самую точку попали. Я ведь сам про себя именно так порой думаю: и старый, и нет. Что значит земляки! Вина, может быть? — Он повел рукой приглашающе.

— С удовольствием. Только я сама, уж извините...

Она подошла к стойке, поговорила с хозяином, и было видно, что они хорошо знакомы. Бунин наблюдал за ней с пристальным интересом.

Какая большая вся, но и какая ладная, легкая в движениях, в походке! Ноги полные без излишка, высокие, светловолосая голова на высокой шее гордо поставлена... А вот уже и идет к нему, да как величаво, и стакан с вином не мешает ей! Вот и замерла у столика, словно давая ему возможность рассмотреть себя. Бунин встал и выдвинул для нее стул.

— Ваше здоровье! — сказал он, когда она села, и приподнял стакан.

— И ваше!

— Берите сыр, плох он, правда, да что делать. Как вас величать прикажете?

— Мария Сергеевна. Или Маша, или Мари. Выбирайте, что хотите.

— Ну, а я вам выбора такого не предоставляю по сединам своим, уж извините. Иван Алексеевич.

— Какой уж там выбор! — воскликнула она. — Вы по виду то ли профессор, то ли генерал.

— Вроде того, — усмехнулся Бунин. — Ну, а вы в России ребенком всего-навсего были, конечно.

— Не скажите. Одесскую гимназию закончить успела.

— Вот так-так, — протянул Бунин удивленно. — И такая молодая до сих пор!

— Спасибо, — кивнула она. — У нас в роду все женщины долго молодыми выглядели.

— И когда же вы уехали?

— С отцом, в начале двадцатого, из Одессы.

— Уж не на “Патрасе” ли?

— Именно на нем.

Бунин рассмеялся, разведя руками.

— Ох, тесен мир! Мы же с вами вместе плыли! Помните, небось, раздачу вина бесплатную? Лиловое такое было вино, совершенно ужасное.

— Представьте, помню. Папа его пил.

— Может, позвольте все-таки? — Бунин приподнял бутылку. — Если уж у нас столько общего!

— Да, налейте, — кивнула она. — Я довольно много выпить могу, хоть особенного пристрастия к вину и не имею. Говорят, потому что кровь сильная.

— Кровь сильная, — повторил Бунин. — И, видно, не только кровь. Что ж, за наш “Патрас”, который тогда не утонул хотя бы.

Васильковые глаза ее, чуть повлажневшие от вина, были поразительно живыми и очень при этом спокойными. Редкое сочетание, подумал Бунин.

— И что же у вас было после “Патраса”?

— Спросите лучше, чего не было, — усмехнулась она. — Все было.

— Так-таки все?

— Так-таки. Горек хлеб чужбины...

— И круты ее лестницы.

— Да, Данте... До Парижа добирались чуть не год. Балканы, Прага, Берлин. А в Париже чердаки да подвалы. И полы мыла, и белье стирала, и на консервном заводе работала. И торговала с уличных лотков...

— А отец?

— Умер от сердечного приступа. В метро, рядом со мной сидя... Только-только таксистом работать стал.

Она покосилась на бутылку, и Бунин молча налил ей и себе. Молча и выпили.

— А кто он в России был, позвольте узнать?

— Полковник артиллерии. После его смерти совсем худо стало, хоть на панель иди. Уже и собралась, да не смогла, натуру не пересилила.

— Но мужчины-то были? — спросил Бунин осторожно.

— Как не быть. — Она усмехнулась, скривив губы. — Связи короткие, да все не то и не то...

— А сюда попали как?

— От немцев уехала, не могла на их морды толстые смотреть. Работу, правда, жаль было бросать, в последние годы в русском ресторане пела. Подруга, официантка-француженка, никак в толк взять не могла — куда, зачем? Офицеры у немцев вежливые, деньги платят исправно. Уж тебе-то, русской, что? Тошно, говорю, вот что.

— Причина не из самых важных, хотя я вас понимаю...

— Признаться, и еще была причина. Хороший человек как раз встретился вот из этих мест. С ним сюда и добралась.

— Уж не тот ли, которого вы свиной называли?

— Он самый.

Бунин расхохотался, а вслед и она.

— Прекрасный человек, представьте себе! Я, может, двадцать лет такого ждала.

— А как же “свиной”?

— Чего сторяча не скажешь, — махнула она рукой. — Ревнив ужасно, Отелло настоящий. Ну, да я его уйму понемногу. У него ферма крошечная тут, поблизости: козы, куры, земли клочок. Я, как туда попала, сразу почувствовала, вот оно, мое. Даже Россию причерноморскую напоминает чем-то.

— Он что же, одинокий, Отелло ваш?

— Вдовец. Жил с дочерью, а теперь вот еще и со мной. Девочка чудесная, я ее по-русски говорить учу и его тоже. Постигают понемногу, простое самое.

— А с работой сельской вам как?

— Представьте, словно всю жизнь этим занималась! Дивлюсь, надивиться не могу. Наследственное, наверное, что-то вдруг проснулось. У меня ведь дед по отцу при крепостном еще праве родился, в крестьянской семье, в Воронежской губернии.

— И я родом из Воронежа, кстати.

— Ну, вот видите! — воскликнула она, приподнимая стакан. — Совсем земляки.

— А матушка ваша?

— Матушка столбовая дворянка калужская, Смольный институт закончила. От тифа умерла в восемнадцатом году.

— Да, — сказал Бунин задумчиво. — И снизу, и сверху зачерпнуто. Оттого, может, и сильная кровь, как вы выразились. Вот за нее давайте, чтоб во французской не потерялась.

— Ребенка хочу, — вдруг проговорила она смущенно и тихо. — И стара уже, и не время теперь, а хочется...

— Вот и рожайте с Богом!

Помолчали. Бунину и жаль было с ней расставаться, и в то же время он чувствовал, что самая пора.

— Я пойду, пожалуй, — сказала она. — Спасибо вам.

— Вам спасибо.

Когда прощались, он неожиданно для себя обнял ее, поцеловал в щеку, а потом долго смотрел, как она идет по набережной, теряясь в толпе.

5

Бунин с трудом встал из-за стола, вышел на крыльцо, пошатываясь, подавляя приступ тошноты, и вдруг исчез. Очнулся уже в гостиной, на диване, лица жены и Галины над собой увидел и собственное бормотание уловил: что-то про фронт, Москву, про рукописи, которые остались в беспорядке... Когда уже вполне пришел в себя, то подумал — а о чем же еще беспокоиться перед смертью было? О близких людях? Так они — вот они, рядом стоят...

В постели с ознобом, головокружением и крайней слабостью пролежал три дня. И был не капризен, не раздражителен, как обычно во время болезни, а смиренен, кроток, добр и любовен ко всему и всем вокруг. Аверкия, героя своей “Худой травы”, сам себе напоминал. Это и умиляло, и чуть тревожило даже. Если уж болеть наподобие Аверкия, то надо в конце концов и помирать. “Умер он так тихо, что старуха и не заметила” — этим кончается рассказ. Да, но Аверкий-то мужик, батрак, святой жизни человек, так задумывался, так писался, а тебе до святости далековато. Вот и успокойся, усмехнулся он, глядишь, даст еще Бог пожить, хоть какие-то из грехов твоих многих попытаться отмолить...

Больше всего в эти дни думалось, конечно, о смерти. Вот так и исчезнешь из мира, как наемни исчез, но уже на веки вечные. Навсегда! И никогда уже не увидишь ни неба голубого, ни поля зеленого, ни лица человеческого милого... Душа сжимается от ужаса, хотя пора бы и попривыкнуть, всю жизнь ведь о смерти и пишешь, и думаешь, дня, наверное, без этого не проходило. Вот уж что Господь отмерил полной мерой — смертную память. А думаешь о смерти так много потому, что жизнь любишь безумно. Две стороны одной медали получают, и поворачивается она то одной своей стороной, то другой. И стоишь перед этой вертушкой то в восторге, то в ужасе, и ужаса с годами становится все больше... А как же вера твоя христианская, православная? Как же твои стихи любимые о том, что принадлешь к милосердным Божиим коленям в сладостных слезах? В это-то веришь? И да, и нет. Точно по молитве: верую, Господи, помоги моему неверию. И еще стихи, и тоже любимые: Есть ли тот, кто этой дачи спящей сторожит покой? Есть ли тот, кто должной мерой мерит наши знанья, судьбы и года? Если сердце хочет, если верит, значит — да. Что ж, вот так и верь. Верь сердцу, в нем едином Бог живет...

А тут вдобавок морока пристала пустая, но неотвязная — в землю лечь или сожженному быть? Захотелось вдруг почему-то огня всепожирающего и пепла чистого потом. Чтоб ни сырости, ни червей, ни тьмы могильной. Жене об этом сказал и в дневник записал даже. Несколько дней умоляла отменить, на коленях почти. Сжалился над ней, наконец, и согласился. Но уж

если в землю, то непременно в цинковом гробу из-за дикого, древнего какого-то страха, что змея может в череп заползти. И еще тому причина есть тайная — вдруг когда-нибудь в Россию повезут твои благородные кости? Сподручнее будет в цинковом гробу... Когда сюда, на этот гордый гроб придете кудри наклонять и плакать.

Все Пушкин, в любом почти размышлении важном... Ну, а на твой гроб кто придет всплакнуть? Жена с кудрями седыми, да, может, Галя еще. Что ж, что бросила, любила ведь... Сильна, как смерть, любовь, сказано, они часто и ходят парой. Даже и посильнее смерти бывает любовь, и так писывали, и сам тоже. Где-то есть, в "Иде", кажется, что она поцеловала его одним из тех поцелуев, что помнятся не только до гробовой доски, но и в могиле...

Ну, а твои, до Гали, любви главные? Жена тут не в счет, это статья особая, ангел-хранитель, от Бога данный. Так и другие две женами были, первая, правда, всего лишь гражданской, Варя с ужасной фамилией Пашенко. В Орле началось, когда мальчишкой был девятнадцатилетним, нищим, при "Орловском вестнике" подвизавшимся за гроши. А потом Полтава, жизнь совместная и, как всегда у тебя, то счастье безумное, то отчаяние смертное. Четыре года длилось и кончилось запиской, до единого слова памятной: "Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом". Как только выжил-уцелел тогда? Силы молодые помогли? Так ведь от избытка этих самых сил как раз и погибнуть можно... Ну, а вторая, Анечка Цакни, жена венчанная? С ней-то что было? Увлеченность юностью ее, красотой, чистотой, наивностью. Да еще и юг, море, жизни радость! Ну, и сделал предложение, сам себя этим удивив. И разочаровался жестоко — такой вдруг оказалась чужой, далекой, непонятной... И не то чтобы глупой, а тупой, хоть кол ей на голову теши. Не раз вспоминал Тютчева и тогда, и потом, о женщинах размышляя: "Природа — сфинкс, и тем она верней своим искусом губит человека, что, может статься, никакой от века загадки нет и не было у ней". Вот именно так и с ними, с женщинами, сфинксами нашими. Терзаемся, бьемся, руки на себя накладываем — перед пустотой. Ты и бился перед Анютой два года, пока не разошлись окончательно, сына едва успев завести. Ванечка, пяти лет всего умерший, всю жизнь фотография его с тобой, перед глазами. И не знал его почти, а боль утраты с годами не исчезала, а странно росла и растет. Твоя кровь, едва в мире мелькнувшая...

Что-то ты такое жестокое о женщинах подумал? Да, о тупости их, о пустоте. И так оно, и не так. Совсем не так. Ничего все-таки лучше в мире нет женской любви и женщины прекрасной. Сколько о них плохого ни вспоминай, ни думай, а все равно к этому придешь наконец. В "Жизни Арсеньева" Лица из всех женщин, которых любил в жизни, создана. И как же ты закончил роман, какой итог всем любовям своим подвел? Помнишь ведь дословно, как стихи, да это стихи и есть. Недавно я видел ее во сне — единственный раз за всю долгую жизнь без нее. Ей было столько же лет, как тогда, в пору нашей общей жизни и общей молодости, но в лице ее уже была прелесть увядшей красоты. Она была худа, на ней было что-то похожее на траур. Я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, которой не испытывал ни к кому никогда.

Плакал, пища конец, навсегда это отпечаталось. Да и теперь, по слову все вспомнив, почти плачешь. Что ж, ослабел душой, третий день в постели валяясь. Или все-таки потому, что хорошо? То и другое вместе, пожалуй. Да, жены, жены... Что-то твоя главная, истинная, последняя не идет, пора бы. Да и есть чуть захотелось впервые за эти дни... Ну, а кроме жен, сколько ж у тебя женщин прекрасных и не очень за всю жизнь было? Дон-Жуанский список если составить, Пушкину в подражание? У него что-то много набралось при жизни такой короткой, у тебя и при долгой столько не выйдет. Может, тут с силой, мощью творческой есть какая-то связь? Да и есть, пожалуй. Но были ведь большие писатели и не гулены отнюдь. Чехов тот

же. Да и Толстой погулял до женитьбы и покончил с этим, как обрубил. Увлекался, правда, лет в пятьдесят кухаркой своей Домной и уж так, бедный, мучился, сдерживая себя, что больно было про это читать. Хорошо, удержался, а если б нет? Автор “Войны и мира” — и кухарка домашняя, дико и представить... Страшная сила в голом влечении половом, темная, дьявольская. Недаром он повесть свою об этом “Дьявол” назвал и от жены рукопись под обивку дивана прятал... Вот этой-то силы и сам ты всю жизнь боялся, потому и список твой не столько Дон-Жуанским получится, сколько списком упущенных возможностей. Берегся, натуру свою судорожную, безудержную зная. И еще всегда знал, как легко это бывает вначале и как тяжело потом... Ну, а все-таки, сколько бы у тебя набралось, если б припомнить попробовать? Да и немало, для мужского петушиного гонора в самый раз. Удивительно, что, как ни вспомнишь ту или эту, не столько она сама представляется, сколько обстоятельства окружающие. Природа, погода, город, улицы, гостиницы, другие люди. Россия вспоминается, в сущности, быт ее, лад и строй, свет, цвет, звук, запах... И как-то странно и неразрывно перемешивается, сливается в воспоминаниях женщина конкретная и Россия. А может, главная-то твоя любовь именно она, Россия, была и есть? Ох, далеко же тебя бросило! Прямо к Блоку, которого терпеть не можешь. Он так прямо и написал: “О, Русь моя, жена моя...”

Вошла Вера.

— Была бы жена, да вот и она!

— Что это ты, Ян? — Вера улыбнулась удивленно. — Бодрый такой вдруг?

— Мысли бодрые. Это я из “Бориса Годунова” переделал. Там в корчме монах говорит: “Было бы вино, да вот и оно”. Помнишь сцену эту?

— Ну, так вспомнить сразу...

— И еще спрошу. О, Русь моя, жена моя — как тебе такое? Из Блока вашего строчка.

— Да не мой он совсем, что ты? А строчка мне не нравится. Нагло как-то, что ли...

— Вот-вот! В жены Русь берет, такую, видите ли, честь ей делает! Ну, да Бог ему судья. Умер, по слухам, в мучении и раскаянии... Так что тут у тебя? Кашка реденькая и чаек жиденский? Все в самый раз...

Вера смотрела, не отрываясь, как он ест. Бунин покосился на нее недоброльно:

— Что ты на меня, как на ребенка малого, уставилась?

— Ты ребенок и есть. Отчасти. Инфант террибл...

— Злой, жестокий? Нет и нет, матушка! Гневлив бываю, но это другое совсем. А сейчас как раз благодный по причине упадка сил.

— Но тебе и получше стало, я вижу...

— Что видишь, то, стало быть, и есть. Все знаешь лучше меня самого. Еще б писать за меня научилась, то в полную отставку мог бы подавать.

— Дело за малым...

— Вот-вот, и говоришь даже, как я бы сказал. За малым дело, да... Смотри, не пиши только в воспоминаниях, что злым был. За это, как на том свете встретимся, строго спрошу!

— Ну что ты, право, — сказала она с укором. — Таким нехорошо шутить. И почему ты думаешь, что непременно первым умрешь?

— А тебе что, этого вот случая мало? На волоске висел.

— Так обошлось же, слава Богу!

— Теперь обошлось, в другой раз не обойдется.

— А я что же, от смерти заговоренная?

— Нет, но после меня!

— Да почему, Господи?

— А потому, что ты без меня проживешь-обойдешься, а я без тебя пропаду пропадом!

— Вот, вот, вечный эгоизм твой...

Бунин рассмеялся:

— Да уж куда эгоистичнее — смерти первому желать!

— И ничего нет смешного. — Она посмотрела на него своими большими, светлыми, повлажневшими глазами. — Ты, как тебе удобнее, хочешь, вот и все.

— Да ты пойми, дурочка, что ты жить будешь, а я буду в земле в это время лежать! Кому будет лучше?

— Тебе, — ответила она тихо.

— Ладно, — махнул он рукой. — Прекратим спор этот идиотский. Одно только скажу — ценнее жизни ничего на свете нет.

— А по-моему, есть. Душа бессмертная.

— Я не о душе, я о жизни земной говорю!

Она молчала, сидя перед ним, такая изможденная, бледная, сложив на коленях свои крупные руки. А что, если и вправду она первая умрет? Язву подозревают и даже туберкулез... Холод прошел у него по спине. Останусь совсем один в мире, что тогда? Вслед за ней поторопиться, что ж еще...

Он дотянулся, взял ее тяжелую, прохладную руку и прижал к губам.

— Спасибо, Вера. Подремать теперь пора.

Когда жена ушла, он долго лежал неподвижно, глядя в серый сумрак за окном...

В шестом году познакомились, весной седьмого стали вместе жить, тридцать пять уже, выходит, лет. Бог тебе ее послал, не иначе. Говорят, браки совершаются на небесах. Так вот этот, третий твой, там как раз и совершился, вся жизнь это показала, теперь-то, в старости, можно уверенно сказать. Если бы не Вера, пропал бы, пожалуй, все шесть лет воли вольной, после разрыва с Аней, к этому вели. Бесприютность, бездомность, гульба, раздранность душевная... Работа единая выручала, за нее держался изо всех сил. Когда же Веру впервые увидел на вечеру у Бориса Зайцева, так сразу и подумал: вот тебе жена! Глаза ее больше всего поразили: чистые, ясные, правдивые. В лице бледном порода видна, профиль греческий, крупна телом, но и изящна, держится с достоинством сдержанным. Холодком, правда, от нее чуть веяло, но и это ему было по душе, как раз в противовес его собственной натуре — неумной, страстно-судорожной, горячей. И в разговоре она оказалась хороша — скромна, умна, спокойна, И остальное, житейское, что про нее вскоре узнал, подходило одно к одному: старинного рода дворянского, дочь члена Московской горуправы, племянница председателя Государственной Думы, слушательница Высших женских курсов. Химию там изучала, да так усердно, что пальцы кислотами были обожжены. А лучше всего, что и литературные интересы имела, три языка знала из главных европейских, и переводить пыталась с французского Мопассана, Флобера... Даже в возрасте разница у них была какая-то приятная, правильная — одиннадцать лет... Что ж, чего ждал, на что надеялся, то и получил в полной мере — спутницу жизни верную, понимающую, хозяйку заботливую, да еще и мамку-няньку, когда плохо бывало. Главное же, помощницу в работе великую. Сколько его страниц переписала, лишь Софья Андреевна Толстая ее в этом, пожалуй, превзошла. Так он таких громад, как “Война и мир”, и не создавал. А вот холодок телесно-душевный так в ней навсегда и остался. И к лучшему. Любовь страстная — тяжкое бремя, по жизни с Варей и Аней хорошо это узнал, а уж с Галиной и подавно.

Никогда и ни в чем Вера его не подвела, не обманула, не разочаровала даже. И душу ее чистую, истинно христианскую, которую угадал с самого начала, любил с годами все больше. До преклонения даже какого-то, в общем ему не свойственного. А ссоры, а крики твои безобразные? “Дура сущая!” — это еще не из самого грубого. Что ж, на тебе и грех, она-то все переносила с кротостью и смирением. По душе лучше не встречал, конечно, человека. А самому как благодетельно было сознавать замаранность свою греховную рядом с ее чистотой! всегда знал, что, если б Веру в его присутствии кто-нибудь обидел, убить бы того мог! И не просто как оскорбителя, клеветника, но и как уroda, не способного понять, где добро, где зло. Она, Вера, была для него знаком этого. Где она, там и свет, и добро. Да, любил и любит ее той именно любовью, которая от Господа нашего нам заповедана...

После болезни все окружающее, как всегда, казалось Бунину чуть обновленным и потому особенно прелестным. Небо, горы, море, деревья, трава, цветы самые уже запоздалые... И как-то странно, ладно и сладко это перемешивалось — даль и близь. Дальнее приближалось, а ближнее становилось крупней, сложней и значительнее, так что облако вдруг напоминало человеческий профиль, а кусочек кварца в скале блестел и горел, как крохотное солнце. И хотелось все это как-то остановить, оставить, записать! Он и делал это в дневнике по вечерам, как делал почти всю жизнь. Цвет неба, оттенки листьев на кустах и деревьях, форму и освещенность облаков, блеск звезд, тени солнечные и лунные... Зачем все это записывать изо дня в день, из года в год, стараясь выразиться как можно точнее? Вспомнилось, в Васильевке как-то, лет тридцать назад, записал, что листва на груше в саду стала уже коричневой, а на другой день исправил — нет, бронзовой! Вот зачем, почему? Кому нужна поправка эта? А тебе самому. Бог-творец хотел ведь, чтоб все было хорошо в его творении, вот и ты тоже, как-никак, а творец, того же хочешь и удовлетворение испытываешь особенное, как стрелок, попавший в цель...

Чуть потянуло и к работе. Бунин с удивлением и надеждой наблюдал за этим как-то со стороны, словно робкий, хиленький огонек прикрывая ладонями, с волнением ожидая, что будет — разгорится ли, погаснет ли? Вообще говоря, ситуация была уж никак не рабочей и по здоровью, и по обстоятельствам внешним. Так-то так, но ведь решается такое не только внутри тебя, но словно бы и еще где-то. Там, наверху. Сойдутся звезды благоприятно для работы — она и пойдет, что и не остановишь...

Когда пришла жена с переписанным рассказом “Таня”, Бунин обрадовался. Самое время прочитать не так давно написанное, выправить тщательно, глядишь, все это и к новой работе подтолкнет. Забирая рукопись, он благодарно пожал жене запястье.

— Спасибо, дружок, в самый раз принесла.

— Спасибо-то спасибо, но я так больше не могу...

— А что случилось?

— Опять плакать пришлось. Что ни рассказ у тебя, то смерть в конце или разлука вечная. Галине с Маргой отдавай переписывать, у них нервы покрепче.

— Ну, поплакала, ну, так, что ж, — пробормотал Бунин. — Для того и пишем, чтоб побрало как следует.

— Но хоть где-то, когда-то и хороший конец в этих последних рассказах должен же быть. О любви ведь все...

— Если хороший, то это еще не конец. Настоящий конец всегда плохой. Да и не я концы выдумываю, в жизни оно так. В ней-то терпим, надо и в литературе терпеть. Кстати, тут, — он кивнул на рукопись, — ничего такого уж страшного и нет. Ну, соблазнил и бросил барчук девку дворовую, великое дело.

— У меня такое чувство было, что это не девку бросили, а Россию самому, — вздохнула Вера прерывисто.

— Это кто же бросил? Мы, что ли?

— И мы...

Бунин помолчал, перетерпывая раздражение.

— Послушай, оставь глупости эти! Рассказ-то как тебе показался?

— Совершенно чудесный!

— Ну вот, ну вот, — пробормотал Бунин удовлетворенно. — Вот это нам и подавай! Как бы издать эти рассказы последние, вот вопрос. Книжка ведь уже небольшая набралась. Может, в Америку послать, в издательство Чехова? От одного имени надежда шевелится. Должен Антон Павлович с того света старому своему приятелю и ученику помочь, как ты думаешь?

— Думаю, что шутишь ты как-то нехорошо. Да и не веришь во все такое...

— Поверишь, коли нужда за горло возьмет! Видишь же, жить совсем нечем.

— Я одним утешаюсь — Бог даст день, Бог даст и пищу...
— Разве что так, — усмехнулся Бунин. — У Бога всего много, авось и для нас, сирых и убогих, крошки какие-нибудь найдутся.
— Опять ты шутишь, а я вполне всерьез это понимаю, буквально. И верю.

— Вот и умница. Тебе за веру Бог даст, а ты со мной, маловером, поделишься.

— Ну вот, опять...

— Ладно, ладно! Что ж ты думаешь, Бог шуток не понимает, что ли? Ты вот скажи лучше, какое название для книги новой лучше: “Алый шиповник” или “Темные аллеи”? И учти, что вся книга, вся, только о любви.

— Ох, как хорошо! — воскликнула Вера.

— Что именно?

— А и то, и другое! — Она помолчала. — Представляешь, сравниваю и выбрать не могу. Одно другого лучше, вот мой ответ.

— Совпали мы тут с тобой... — Бунин пожевал губами задумчиво. — И я никак не выберу. А знаешь, откуда взялось? Перечитывал Огарева, да вдруг оба названия эти и увидел:

*Была чудесная весна,
Они на берегу сидели,
Во цвете лет была она,
Его усы едва чернели...
Кругом шиповник алый цвел,
Стояли темных лип аллеи...*

— Какая прелесть!

— Прелесть-то прелесть, а как быть? Варю бы спросить, с ней у нас бывало подобное... В лучшем мире, если встретимся, может, и спрошу. Да не кривись, я серьезно. Часто о разных людях такое думаю, а вспомню Лермонтова, да и рукой махну.

— Что именно?

— Ну, это-то всем известно. Но в мире ином друг друга они не узнали.

— А мы... — Вера загнулась. — Мы-то узнаем с тобой?

— Еще бы! Деваться друг от друга будет некуда. Ну, ну, прости... — Он положил ей на колени руку. — Как бес какой-то подзуживает.

— Вот именно, что бес! Кстати, ты сказал: в мире ином, а надо: в мире новом.

— Не может быть! — воскликнул Бунин. — Чтобы я в любимом своем так ошибся!?

— Представь себе. — Она посмотрела на него даже как-то сочувственно. — Могу книгу принести, помотришь. Я потому уверена, что мне самой в мире ином как-то лучше кажется, но у Лермонтова в новом.

— Если даже и так, все равно буду в ином говорить! — сказал Бунин задиристо. — Пусть он трижды гений, но мы тоже не льком шиты...

— Ты имеешь право, а я, к сожалению, нет, — улыбнулась Вера. — А по поводу названия книги ты с Галиной посоветуйся. Она, когда вы познакомились, как раз во цвете лет и была. У тебя вот только усы не чернели, а сидели.

— Не было уже усов, — крикнул Бунин и расхохотался. — Права, права, не поспоришь. Щетина-то с сединой все равно росла, да...

Над рассказом Бунин проработал довольно долго, что-то вычеркивая, что-то чуть и добавляя. Удачный рассказ, особенно Таня получилась хорошо. Бедная Таня, хоть прямо так и называй, в память Карамзина, повести его знаменитой. И глазам не раз при чтении горячо становилось, можно жену понять. Разлука вечная — и о разлуке навсегда так говорят, и о смерти. То просто смерть, то убийство человека любимого, а то и самоубийство — обо всем этом писано и тобой, грешным, и другими многими. И вдвоем ведь с собой кончают, как в “Деле корнета Елагина” хотели. Не из-за обстоя-

тельств жизни, в сущности, а чтобы высоту чувства любовного не терять. Чтобы уйти на самой-самой вершине. И у самого ведь нечто подобное в жизни мелькало. Шли как-то с Галиной в первое лето здесь, в погоду чудесную, счастливы были, как никогда, а ты вдруг и подумал: лечь бы сейчас в тени оливы легкой, сквозной на шелковистую, подсохшую траву, обняться и умереть... Да почему?! А все потому же — чтобы охлаждения не переживать, от разочарований ускользнуть неизбежных... А что, если смерть уходом в монастырь заменить, вдруг подумал Бунин. Если девушку прекрасную, богатую, всячески благополучную взять, любовь ее с таким же редкостно облаканным природой и судьбой молодым человеком написать, ночь, близость их первую и единственную. А сразу после нее — монастырь. Получила лучшее, что на земле существует — и к Богу поближе навсегда ушла. Озноб пробежал у Бунина по коже, явный признак, что в мелькнувшем замысле скрыта глубина, закваска художественная... И у Пушкина нечто похожее есть: в ся жизнь одна ли, две ли ночи... Господи, да ведь и у тебя чем-то близкая этому ночь была сорок лет назад, в Калуге. С тех пор, вспоминая, так и называешь ее про себя: калужский дар...

6

В поезд Одесса—Москва он садился с ощущением счастья. Кончилась, наконец, эта двухлетняя, страшная морока: женитьба скоропалительная на Ане, жизнь с ней тяжелая, надрывная, всю душу ему истерзавшая, разрыв полный, с рождением сына Ивана странно совпавший. Вот его только было мучительно жаль оставлять, да что поделаешь? Одно утешало — есть же он теперь на свете, есть!

Впереди лежала неизменно любимая им дорога, потом Москва, встречи с людьми милыми, театры, рестораны, компании дружеские, а потом Огневка, брат Юлий, жизнь деревенская, тоже всегда любимая, природа, работа ежедневная, истовая... И самого себя сейчас было на редкость приятно ощущать — ловкого, сильного, оживленного, родственно внимательного ко всему вокруг. И костюм светлый, летний был хорош, и туфли светлые, и отражение лица, вдруг мелькнувшее в вагонном окне. И лет ему было всего-то двадцать девять! Пушкин, помнится, с молодостью в тридцать прошался, ну, а тебе до этого целых полгода еще. Как там у него в “Онегине?” Простимся дружно, о юность легкая моя... А твоя была ли легкой? Нет! Глушь, нищета, затрапезность, судорожные попытки приподняться, вырваться...

В дороге все было радостным и приятным. Чистота первоклассного вагона, качание его на ходу, какое-то колыбельное, уют купе, совсем домашний, с мягким, тусклым отсветом бронзы, с пружинной упругостью диванов. Даже в сортире пахло чудесно и неожиданно — морем. А за окном было и того лучше — майская зеленая степь шла, разворачивалась вблизи стремительно, а чем дальше, тем медлительнее, значительнее, мощнее. Полустанки южные, в степи затерянные, пронеслись мимо, и в каждом хотелось задержаться хоть ненадолго, узнать их жизнь, всегда казавшуюся таинственной, непоколебимо-спокойной и прелестной... А вот и первая остановка, и первая прогулка по перрону, и желтый вокзальчик уездного городка, и сирень в палисаднике, которая клубилась, кипела, гремя, волнами целыми прямо-таки вываливаясь поверх забора на перрон. Бунин подошел к ней и замер. Целый мир сиреневый лежал перед ним, волнисто-рассыпчатый, густой, но и воздушно-легкий, сладко дурманил голову, звал шагнуть в него, затеряться в нем, зажить совсем иной, особенной, сиреневой какой-то жизнью...

Раздался удар станционного колокола, Бунин вздрогнул, как разбуженный, повернулся и увидел прямо перед собой в дверях вагона женщину в лиловом платье. Ни лица, ни фигуры ее он толком не разглядел, одна лишь лиловость и бросилась в глаза, ладно так совместилась с тем сиреневым миром, на который он только что смотрел. Лиловое словно бы продолжало сиреневое, лежало в самой-самой сокровенной его глубине. Ищите женщину, подумал он, усмехнувшись. Ищите и найдете, даже сирень разглядывая всего-навсего...

Женщина в лиловом вспомнилась вдруг, когда стала уже чувствоваться Русь, Московия, когда потянулись за окном могучие, казавшиеся бесконечными брянские, брынские по-старинному, леса. Он все смотрел и смотрел в их нежно-зеленую, майскую даль, в плотную синеву неба, которая у горизонта становилась лиловой, как платье незнакомки на той, такой далекой уже уездной станции. И ему стало мимолетно жаль, что он так и не разглядел ее толком и не увидел больше. Дорога ведь еще и тем хороша, что постоянно чувствуется в ней возможность приключения, встречи случайной, счастливой...

За лесами на запад был Смоленск, родственный тем, что, по старинному преданию, сгорели в нем при страшном пожаре какие-то древние грамоты их рода, дававшие большие права и привилегии, а на севере, близко уже совсем, лежала Калуга, в которой бывал у сестры Маши. Калуга-то оказалась хороша, а вот жизнь сестры не очень. Быт скудный, мещанский, домишко жалкий, муж, паровозный машинист Ласкаржевский, из которого каждое слово впору было клещами вытаскивать...

Калуга выручала, одинокие прогулки по ней. Хоть и неловко было уходить из дома, приехав совсем ненадолго, а уходил-таки. Бродил с наслаждением по тихим улицам, по аллеям городского сада над Окой, на Оку подолгу смотрел с высоты, удивляясь нетронутой природе на противоположном берегу: и лесок там был, и поле желтое, ржаное, и поле розоватое, гречишное. Вспоминался Орел молодости, такие же одинокие по нему блуждания, и та же Ока, только поменьше... Уезжая на этот раз из Одессы, долго сомневался — навесить сестру или проехать мимо? И решил проехать, взять грех на душу, уж очень не хотелось настрой свой легкий, радостный портить...

Когда до Калуги оставалось часа два, он сидел в людном ресторане перед тарелкой с сочной семгой и графинчиком коньяка. За окном садилось солнце, огромное, красное, с размытостью по краям. Цвета всегда мучили Бунина какой-то необходимостью определять их как можно точнее и сравнивать между собой. Вот и сейчас, поглядывая на солнце, он чувствовал эту необходимость и никак не мог ее понять. Выпил рюмку, поднял вилкой кусок семги и рассмеялся. Цвета они были близкого, солнце и семга, вот что неосознанно мучило его. Хорош, нечего сказать, далеко хватил! С Чеховым бы поделиться, посмеялись бы вместе. Да и вообще, это скорее для него, для его рассказа, сравнение...

А солнце уходило. Он со всегдашним интересом и даже волнением смотрел, как промежуток между красно-розовым диском и чертой горизонта становится все меньше. Казалось, вот коснется солнце этой черты, и произойдет в мире что-то особенное. А начало конца произойдет, конца дня, конца заката... Вот и коснулось, вот уже и смялось снизу едва заметно. Он торопливо налил рюмку, выпил, не закусывая, посмотрел — вмятина стала гораздо заметнее. Волнение странно нарастало, и у него даже мелькнуло утешительно, что солнечный диск велик, надолго его еще хватит... Что-то вдруг из Достоевского представилось: кого-то на казнь везут, а он думает, что много еще ему жить осталось, пока эту вот улицу проедут, и другую потом... Да, да, именно тем закат и зачаровывает, что кажется жизнью самой, и долгой, и краткой до боли... Солнце в землю ушло уже по пояс, и он налил еще, решив выпить, когда от него останется последняя, ослепительная почти всегда капля, искра.

— Добрый вечер! — раздалось вдруг. — Можно к вам?

Он медленно поднял взгляд и увидел сначала лиловость платья, а потом, сразу, глаза — большие, широко открытые, цвета переспелой вишни. Он успел как-то войти в них, и побыть, и вернуться, и только тогда смог ответить, кивнуть с готовностью:

— Да, да, разумеется... Очень рад.

— Рады — не рады, а принимайте, — сказала женщина, усаживаясь напротив. — Единственное свободное место у вас.

Голос у нее был мягкий, теплый, с приятной, едва уловимой хрипотцой, а все лицо соответствовало и глазам, и голосу: небольшое, смуглое, крепкое. Что-то восточное было в нем — в высоких скулах, в разрезе глаз, в переносице.

сице плосковатой. Бунин всегда любил эту примесь и теперь странно обрадовался ей. И еще выражение лица показалось ему на редкость милым: не улыбка, а словно бы след ее, едва уловимый.

Они встретились взглядами еще и еще, и каждый раз он входил в ее темно-вишневые глаза и чувствовал с ознобом тревожным, но и радостным, что так просто встреча эта не кончится. Казалось, что все главное уже произошло между ними и теперь должно лишь продолжиться. Он видел, что и она испытывает нечто похожее, и робко радуется, и тревожится, как и он...

В разговоре, отрывистом и напряженно-путаном, он узнал, что она выйдет в Калуге, переночует в гостинице, а утром поедет в уезд, в какой-то Мосальск. Ничего не решая, не успев даже толком подумать об этом, он понял вдруг, что выйдет вместе с ней...

И была ночь в губернской гостинице, одна из тех, что с самой жизнью можно сравнить по-пушкински, а ранним утром она уехала, ни фамилии своей ему не сообщив, ни адреса. Сказала, смеясь, что, если очень уж захочет, то и по приметам ее найдет... И ведь не раз потом, особенно в трудные дни, минуты, мелькало у него — а не поехать ли в Мосальск? В шутку мелькало, но ведь и всерьез...

Бунин очнулся. Вместо России Франция, вместо Калуги Грасс, вместо гостиничного того номера спальня в “Жанетте”... Лунный свет на полу до самой постели, гул мистралья за окном.

Сколько раз за многие годы вспоминал он этот подарок судьбы, а вот теперь, впервые что-то в воспоминании неприятное было, тяжелое, душу гнетущее. Да что, Господи? А то, что немцы в Калуге... Выходит, что как ни вспомни прежнее, российское, во всем будет этот привкус отвратительный — немцы! А если победят-таки, останутся там до конца дней твоих? Одним сознанием этого жизнь будет отравлена, изгажена, потому что из воспоминаний она и состоит на добрую половину... Вот и Орел уже взяли, и Ефремов, по могилам отца и матери прошли. Чувство застарелой, глухой вины дрогнуло в нем. Не был он на этих могилах — ни у отца в Грунине, ни у матери в Ефремове. А ведь сколько ездил мимо кладбищенской рощи ефремовской, где мать лежит, которая так просила не забывать ее могилы. Сказать кому, сочтет мерзавцем последним, выродком. А причина проста — страх, ужас, предательство яркое, что, подойдя к могиле, тут же и упадет на нее, и умрет. Большой грех, а что поделаешь, если так и не смог себя пересилить? Матушка-то простит по доброте своей ангельской, а там, глядишь, и Господь смиростивится, ужас его непреодолимый поняв. Вот об этом и молись. Написал же в “Жизни Арсеньева”: В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире, и да будет во веки благословенно ее бесценное имя. Что это, как не мольба, не молитва?

7

Америка, земля обетованная, думал Бунин, расхаживая из конца в конец по террасе в ожидании скорого обеда. Кто мог, туда сбежал, а остальные сбежать мечтают. С раздражением думал, словно его тащили в эту Америку, а он упирался. Что ж, годом раньше, когда существовала для отъезда полная возможность, так оно и было. Особенно Алданов старался, со слезами почти умолял ехать вместе, страшные, апокалиптические прямо-таки картины будущего для Европы рисовал. Большое было колебание, что скрывать, но устоял, Россия удержала. Хоть и недоступна она, а все-таки рядом, рукой подать, а в Америку эту сказочную, за океан, уедешь, словно на луну попадешь. Франция с Россией связаны, как пальцы переплетенные, не растащить: тут и история, и литература с искусством, и, главное, люди. И речь русская кругом, и могилы русские рядом, а в Америке будет суцая пустыня...

Странное дело, пока на Россию Германия не напала, уехать, глядишь, и мог бы, а теперь, когда немцы под самой Москвой, пожалуй, что и нет. И не в сложности, трудности переезда дело, это уж как-нибудь бы преодолел, а в том, что с Россией дела так плохи. Дикое какое-то чувство, что,

в Америку уехав, он Россию бросит в беде. Бред, а ведь так и есть в самой-самой душевной глубине. Да, но подобные дела не душой, а разумом решать надо, на то он человеку и дан. А душа что ж, она в такие дебри может завести, из которых и не выдраться потом будет...

Алданова потерять больше всех было жаль. Друг старый, вернейший, почитатель неизменно восторженный. Порой уж так расхваливал, что неловко было, а все равно приятно. Чувствителен и к хвале, и к хуле до сих пор, есть такая слабость, с ней, видно, и помирать. Да, жаль Марка, доброты его, уравновешенности, спокойствия. При твоей натуре дерганой, заполошной одно его присутствие, как лекарство, влияло. А вот Набокова так не жаль, хотя писатель он покрупнее Алданова, конечно. Метафоричность, изобразительность удивительные, рекордные просто, и закваска метафизическая густая. Сказал как-то: этот мальчишка выхватил пистолет и уложил всех стариков, и меня в том числе. По всему русскому Парижу это разнеслось. Сказал, да и пожалел, что себя включил в число уложенных.

Неправда это, с языка вгорячах сорвалось. Ты как стоял, так стоять и будешь, никакому Набокову не дотянуться. Боли настоящей в его писаниях нет за людей, за жизнь, за Россию, а без нее ни высоты, ни глубины истинной не достичь. Но тоска-то по России есть, в “Машеньке”, к примеру, в рассказах некоторых? По детству райскому, по юности грусть-тоска, а России настоящей он не знает, не успел узнать. Да и жизнь богатая, барская, воспитание на английский манер тоже помешали. Тебя-то высоко ценит, особенно за стихи, а по-человечески с ним так и не сошлись, совершенно несовместимыми оказались. Уехал, ну и Бог с ним. Ему, похоже, что в Англии жить, что во Франции, что в Америке. Космополит, полная тебе в этом противоположность...

Уехать-то можно даже и сейчас из Марселя, есть кому помочь-похлопотать. И там можно было б устроиться, авось не дали бы пропасть Нобелевскому лауреату. Можно, да вот нельзя...

За обедом, поболтав ложкой в серой жижице с редкими капустными обрывками, Бунин бросил ее на стол и сказал:

— Послушай, женушка, может, смажем пятки да в Америку наладимся? Иначе вот-вот зубы на полку положим и голую воду начнем хлебать!

— Ну что ты, Ян? Какая Америка? Уж сколько об этом говорено-перговорено было! И решено...

— Решено! Договор кровью не подписывали, слава Богу, можно и перерешить. Россию немцы хапнут, так и половиной Франции не удовольствуются, сюда пожалуют. Будем под ними в рабском чине сидеть!

— Ты как хочешь думай и делай, а я не поеду, — сказала жена со слезами в голосе.

— Ну, а вы? — Бунин осмотрел по очереди Галину, Маргу, Зурова. — Того же мнения?

— Иван Алексеевич, — сказала Галина укоризненно, — ну, зачем вы дразните и Веру Николаевну и нас? Вы же первый противник отъезда были и есть. А мы что ж, мы бы пешком туда пошли, только кому там нужна такая сошка мелкая.

— Говорите за себя! — сказал Зуров. — Я и не подумаю никуда ехать.

— Значит, осталась бы? — резко повернулся к жене Бунин. — Что, Францию прекрасную покидать жалко или людей иных-некоторых?

— И Францию, и людей, — почти прошептала она, быстро встала и вышла.

— Ну вот, дорогой мэтр, — сказал Зуров, — чего добивались, то и получили.

— А вы что сидите? — процедил Бунин сквозь зубы. — Идите, успокаивайте покровительницу свою.

— Вы ее до слез довели, вы и успокаивайте.

— Прощу советов мне не давать! — крикнул Бунин, приподняв над столом кулак.

— Иван Алексеевич, ради Бога... — проговорила Галина умоляюще. — Успокойтесь, прошу вас!

— Вы меня насчет Америки вашей попросите! Помогу, чем могу! И ска-
тертью дорога!

Галина рассмеялась неожиданно весело.

— Совсем вы запутались! То на Веру Николаевну напустились, что не
хочет ехать, то на меня, что хочу. А злитесь-то, в сущности, на самого себя,
на сомнения свои.

— Да? — опешил Бунин. Помолчал, постучал пальцами о стол. — Что
ж, может быть... Только это ярость, а не злость, большая разница.

— Ярость и нежность.

— Что-что? Какая еще нежность?

— Да я подумала, что, если и в двух словах нрав ваш надо было опре-
делить, то эти два слова как раз и подходят: ярость и нежность.

Бунин смотрел на нее долго, испытующе.

— Глубоко взяла, нечего сказать. Только, может, слова переставить?

— То есть нежность и ярость? Пожалуй, да.

— Что ж, спасибо за понимание. Впрочем, о таких вещах наедине обыч-
но говорят.

— Может, нам уйти, чтобы вы этот свой разговор продолжили? — спро-
сил Зуров.

— Я никого не гоню, но никого и не удерживаю, — ответил Бунин сухо.

Зуров встал и вышел, хлопнув дверью.

— Придется и мне... — Марга приподнялась с улыбкой.

— Оставьте, Маргарита! — махнул Бунин рукой, — Не надо театр уст-
раивать, да бездарный к тому же. Если нам с Галиной Николаевной вдвоем
побить захочется, уж найдем случай, поверьте.

— И верю, и знаю, — усмехнулась она.

Они встретились взглядом, и Бунин разглядел в ее глазах самое для се-
бя тяжелое — сочувствие...

Не найдя жены ни в доме, ни на террасе, Бунин решил, что она, ско-
рей всего, спустилась в город, чтобы успокоиться да заодно чего-нибудь съе-
стного поискать. Как она слаба, худа, в чем только душа держится, а тут он
с разговором дурацким! Блажь, чужь собачья, должна же она это понять!..
Замучается, бедняжка, бродить по лавкам да еще и впустую скорей всего.
Встретить надо, только попозже, чтобы в городе не разминуться. Да, впрого-
лодь живем, а как представишь жизнь в Васильевском, в Огневке, в Ефре-
мове, так и стыдно за свои сетования на голод-холод становится — и устные,
и дневниковые. Уж если где воистину ужасно, так это там. Святым духом
кормятся, им же и греются...

Тугие, белые облака, плывущие в небесной синеве над Грассом, вдруг
напомнили ему Стамбул, где он бывал сначала один, а потом с женой. Три-
надцать раз, подумать только! Путешествия свои заграничные начал с Евро-
пы, но вскоре почувствовал, что по-настоящему тянет его на Юг, на Восток.
Не иначе это зов крови был, пращурь его самые далекие происходили, ви-
дать, оттуда. Так и пошло за годом год с жадностью неутолимой — Греция,
Египет, Палестина, Цейлон... И каким наслаждением было приобщаться к
древнему, дикому, первобытному, поистине райскому! А еще большим, мо-
жет быть, наслаждением оказывалось потом писать обо всем увиденном и пе-
режитом. И писания эти вошли в лучшее из того, что он за долгую жизнь
создал. Если без излишней скромности признать, то создал с редкой, тор-
жественной красотой и силой. И с проникновением в суть каждого народа,
в дух веры его. В язычество, в ислам, в буддизм, в раннее христианство. Ес-
ли даже названия этих вещей вспомнить, волнение охватывает невольное,
снова в дорогу тянет: “Воды многие”, “Тень Птицы”, “Море Богов”, “Храм
солнца”... А рассказ “Братья”? Перечитал недавно и сам не мог понять, как
ему удалось в юношу-рикшу цейлонского перевоплотиться, да и просто-на-
просто стать им? Вот потому и удалось, что всегда чувствовал остро в самой
глубине души, что все люди братья. А ведь пишут порой — холоден, отстра-
нен, равнодушен к изображаемому... Какая ерунда, какая грубая неправда!
Сказал Достоевский в речи своей пушкинской, знаменитой, что суть русско-
го человека во всемирной отзывчивости, что он в какой-то мере в с е ч е л о -

век. Вот к тебе как раз это и можно отнести вполне. Есть где-то в стихах: познать тоску всех стран и всех времен. Что ж, и познал по мере сил...

— Не помешаю, Иван Алексеевич?

Галина, взгляд странный, чуть виноватый как будто.

— Да уж нет. Ты мне и никогда не мешала, если работу исключить.

— И вы мне, даже и работу включая. Впрочем, какая уж там у меня работа, — усмехнулась она.

— А вот это ты зря, — поморщился Бунин. — Антон Павлович, помнится, говорил, что есть большие собаки и маленькие собачки, и каждая должна лаять тем голосом, который Бог дал.

— Вот я маленькой и выхожу.

— И по-другому иногда выходит — мал золотник да дорог. — Бунин помолчал. — Как ты хорошо про меня сказала, забыть не могу: нежность и ярость. Сам бы лучше самого себя не определил.

— Иван Алексеевич... — Она запнулась и вздохнула. — Мы ведь уезжаем с Маргаритой.

— Как, куда?

— В Канны.

— И когда же?

— Это неопределенно пока. Может, скоро совсем, а может, и подождать придется. Сначала в Канны, а потом, если получится, в Америку. Давно вам сказать хотела, да все случая не было. И не решалась, сегодняшний разговор за столом помог.

Бунин не ожидал, что услышанное так на него подействует. Сосущая пустота внутри возникла, будто воздух из него внезапно выкачали, да и вокруг все как-то съежилось и потускнело. А вслед за этим чувство протеста вспыхнуло: сколько можно, старый ты дурак! Уезжает, ну и... с ней. Баба с возу, кобыле легче!

Он стиснул зубы и посмотрел ей прямо в глаза. Виноватость и жалость были в них и еще что-то иное.

— Спасибо вам за все... И простите.

— Вздор! — сказал он резко. — Не за что благодарить, нечего прощать! Вольному, как говорится, воля. Счастливого пути тебе, вот и все.

— Все равно простите... — Она сделала шаг в сторону.

— Погоди! Вот что скажи напоследок... Хоть и говорено не раз о том было, а все равно толком не пойму, почему ты меня бросила, да еще дико так?

— Сначала вы от меня ушли, а я потом уж...

— Как это понять прикажешь? Куда я ушел?

— В высоту холодную. В какой-то памятник превратились самому себе, так я стала чувствовать. Иван Великий, знаете, наверное, что так за глаза вас называют... А с великим как жить, кем себя при нем видеть? Вера Николаевна могла и может, а я нет. Так ведь она ангельского чина, а мне до этого куда ж? Я баба слабая всего-навсего, в грехах вся...

— Про грехи-то оставь, я тебе не судья. Вот что скажи: любила ты меня? Не из-за писательства моего, а так, попросту?

— Любила. Да я и теперь... — Голос ее сорвался.

Бунин не мог понять, засмеялась она или заплакала. Почудилось, что и то, и другое вместе.

— Все, иди! — сказал, крикнул он резким, высоким, самому неприятным голосом. — Иди, тебе говорят!

Едва она скрылась в дверях дома, как он зашагал вниз, в город. Та пустота внутри и вокруг, внезапно возникшая, когда он услышал о ее отъезде, оставалась и напоминала ему что-то совсем иное... Да отход "Патраса" из Одессы! Но что ж тут общего — родину терять или женщину? А пустота, вот что... Как она сказала: я и теперь?... Может, и ты такое повторить способен? Он хмыкнул раздраженно, усмехнулся и вдруг почувствовал, что глаза его влажнеют. Вот-вот, оно самое — хоть смейся, хоть плачь... Все проходит, да, но ведь и остается. След, временем припорошенный... Вновь почему-то пред-

ставилась Одесса, “Патрас”, ледяной зимний день, серое море. Галину-то сейчас отпустил, прогнал даже, а за Россию тогда, в двадцатом, до крайнего предела держался, последним пароходом уплыл. Даже на палубе стоя, на чудо какое-то в глубине души еще надеялся. И лишь когда стали сливаться с серостью взъерошенного моря серые степные берега, понял — все, конец...

8

Для середины ноября день был, как подарок — солнце, теплынь, тишина. Ни единый лист не шевелился на деревьях, лишь изредка они покорно падали, капали вниз. Слезы прощальные, мелькнуло у Бунина. Не написал бы такое, пожалуй, а написавши, вычеркнул. Сентиментально как-то, но ведь и верно — слезы... Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный // веселой, пестрою стеной стоит над светлою поляной. Господи, как давно это было, да и было ли: поэма “Листопад”, книга стихов одноименная, восторг Горького и Блока...

Ах, хорошо! Так бы и жизнь досидел здесь, на террасе, при солнце низком, слабеньком и особенно поэтому нежном. Дышать, смотреть, думать о чем придется, а того лучше, ни о чем. Хотелось бы так, да жаль, не остановить эту мельницу, вечно мелющую — дум, мыслей, мыслишек, горьких чаще всего. Но сегодня, в день такой чудный, и думается в лад ему посветлей, повеселей, чем обычно. Все ропщешь на судьбу, столько тяжкого тебе зачерпнувшую, и вдруг неблагодарным себя почувствуешь. Какое счастье, что пустили все-таки в этот мир: жить-быть, любить, радоваться, работать истово, самозабвенно. И дар дали истинно редкий, и возможность воплотить его. И признали в конце концов как художника, по-настоящему, главной мировой премией наградив. А еще ведь и красотой телесной Бог не обделил, всегда этим гордился не меньше, пожалуй, чем талантом, недаром стены парижской квартиры собственными портретами увешаны. Он усмехнулся — и правильно! На красивого человека хоть кому посмотреть приятно, с самого себя начиная. Помнится, Галина сказала с восхищением на пляже, когда все только у них начиналось: какое тело у вас легкое! Легкое было, да, а теперь вот и того легче сделалось на вегетарианском питании... И Чехов, кстати, эту легкость заметил, только выразился иначе, по-чеховски: вы худы, как борзая, пейте аппетитные капли и проживете сто лет. Худ и остался и прожил уже немало, а ведь сказано: век человека до семидесяти. Дольше лишь люди высшей силы и крепости живут. Как Толстой, например. Поэтому не сетовать надо на судьбу, а благодарить за милости такие щедрые... Галина? И за нее благодарность великая. В рассказе “Холодная осень” героиня, помнится, спрашивает себя под конец, что же было все-таки в ее жизни? И отвечает: только тот холодный осенний вечер, все остальное ненужный сон. Вечер один, а у тебя с Галиной почти десять лет любви и счастья было...

Какая-то крошечная, серая с зеленой птичка прыгала бойко среди алой листвы бересклета напротив, песенку свою пела тихонько, нежно, радостно и вдруг упорхнула, растворившись в густой небесной голубизне. Вот так, так именно и надо, подумал Бунин. Живи, радуйся, песню свою пой-допевай, а потом вдруг исчезни...

Хорошо, умиротворенно ему было, и все-таки далеко-далеко, на самом краю души что-то побаливало, саднило. Что? Он напрягся, глаза невольно сузил, всматриваясь в дальнюю эту даль. Да Россия твоя, что ж еще?! Вчера не узнавал, как там, не мог, а она сама о себе напоминает даже в подобную минуту. Вот и тревога накатила волной, резкая, мучительная, словно в отместку за тот покой благодатный, которым он только что наслаждался.

Спросить было некого — все жильцы его с утра разошлись-разъехались кто куда, и даже жена была у врача в Грассе. Что ж, подождать придется, решил он и тут же почувствовал, что ждать не может, уж очень сильна была тревога, с предчувствием беды перемешанная. Такое бывало всего несколько раз в жизни, касалось самых близких людей и всегда оправдывалось.

Он встал с шаткого шезлонга и пошел в столовую, к радиоприемнику. Включил, услышал шум, треск, свист, вой и знобко передернул плечами. Мод-

но подумать, что из ада идет репортаж, от котлов кипящих, сковородок раскаленных. А вот и речь немецкая, напористая, ликующая, срывающаяся на лай. И вдруг в этом лае мелькнуло знакомое: Наро-Фоминск, Волоколамск...

Бунин выключил приемник. Нечего больше было слушать: ближе Подмосковье немцы занимают, в бинокли уже, небось, разглядывают Москву с церковных колоколен...

Он вернулся на террасу и со странным удивлением увидел все ту же красоту вокруг, но и что-то иное, новое появилось в ней — отдаленность, ненужность и даже упрек ему какой-то, укор.

Он походил перед домом то спешно, то медленно, а то и останавливаясь совсем. В душе была смута мучительная, отчаянная, и никак ее не удавалось унять. И он все говорил сам с собой мысленно, уговаривая, заговаривал сам себя. Ну, возьмут Москву, ну и что же? Москва еще не Россия. Сколько раз ее и брали, и сжигали дотла, но Россия-то выживала, авось выживет и теперь. Много за Москвой еще земли лежит, аж до океана Тихого. Хотя что проку в этой земле бескрайней, пустынной, кто ее оборонять будет? Да и что ты знаешь о ней? Только то, что у Чехова в “Острове Сахалине” вычитал? Нет, ты уж о своей России думай, а она для тебя только до Волги...

Он попытался представить теперешнюю Россию и никак не мог. Васильевское, Бутырки, Елец, Орел, Москва... Тысячи раз вспоминалось все это с живостью и яркостью, доходящей до ощущения, что вот-вот картина воображения реальностью станет, а теперь вместо этого мелькали, перемешиваясь, какие-то черные, рваные фигуры-пятна. Это чем-то напоминало треск, свист и вой, которые услышал он, включив радиоприемник и про ад как раз и подумав. Вот все и сошлось — и звуки, и картинки дикие, жуткие. А потому что немцы там, они от него Россию дьявольщиной своей заслоняют...

Он сел в ядовито-мучительно заскрипевший шезлонг, надвинул кепку пониже, прикрыл глаза от солнца. И подумал вдруг, что есть ведь и другая Россия, та, прежняя, им же самим изображенная, самая суть ее, плоть и кровь. Вот она уже и проступает все живее и ярче, идет перед ним, плывет...

Начало “Жизни Арсеньева”, воспоминание самое первое: освещенная солнцем комната, блеск его над косогором, видным в окно... Только и всего, только одно мгновенье! А вот и второе, проплывая, приостановилось: бег по облитым водой бурьянам к огороду, к грядкам. Присел перед одной из них, выдернул редьку и жадно куснул ее хвост вместе с синей грязью, причастился к земле... Мужики на зное косят со свистом, размахисто, приседая и раскорячиваясь, валят густую стену желтой ржи... Анистья из “Веселого двора” вдруг наплыла, прояснилась: идет по полям, по тропинкам, межам среди трав, цветов и колосьев и жалеет, оголодавшая, что рожь не налилась еще, а то бы нашелушила зерна, поела... Из “Пыли” картинка: затрапезность, нищета, гниль и разруха пригородной слободы и мысль героя рассказа, его самого то есть: он радостно сознавал, что будет всю жизнь любить все это. Господи, да как же это любить? Ненавидеть лишь можно... Нет, любить! Сказано в Библии — и ненависть твоя от любви...

Он вздрогнул, очнувшись. Если вспоминать все, о России им написанное, остаток жизни на это уйдет. Мало ведь кому удалось с такой широтой и силой о ней написать, закрепить в слове. Пусть тогдашняя Россия и не существует больше, но в книгах-то его она есть! Спас-таки ее, сберег по мере сил от забвенья! Все годы эмиграции только этим и занят был...

Он почувствовал толчок гордости, выпрямился в шезлонге, а потом и встал. И тут же другая мысль осадил, оглушила его. Спас-то спас, но это если теперешняя, пусть и большевистская, Россия выживет. В ней, хоть и подпольно, подспудно, книги его живут и будут жить, а если немцы победят, то и книгам его конец! Да и ему самому заодно, пожалуй. Вот и молись сразу за все: Господи, спаси! Спаси меня, спаси нас, спаси Россию!

Поздравляем Юрия Васильевича УБОГОГО с 70-летием!

Дай Бог тебе здравия и творческой воли, дорогой друг, для вдохновенных бесед с великими русскими писателями минувших времен.